

Елена  
КРЮКОВА

г. Нижний Новгород

# И Е Р У С А Л И М

роман

ХОЖДЕНИЕ ПО ГОРЮ И РАДОСТИ  
СВЯТОЙ ВЪРЫ,  
МОНАХИНИ ГОРНЕНСКАГО ЖЕНСКАГО МОНАСТЫРЯ  
НА СВЯТОЙ ЗЕМЛЪ ВЪ ИЕРУСАЛИМЪ,  
А ТАКЖЕ  
ПРАВДИВОЕ И ДОСТОЙНОЕ СКАЗАНИЕ ЧУДЕСЪ,  
ЧТО СЪ ТОЮ СВЯТОЙ ВЪРОЙ  
ВЪ МИРЪ СРЕДЬ ЛЮДЕЙ ПРИКЛЮЧИЛИСЯ.

\* \* \*

Долго пребывала Вера в забвении; и за ней ухаживали, пока она лежала в болезни, все по очереди монахини Горненского монастыря в Эйн-Кареме во Иерусалиме; и настал день, когда Вера открыла глаза. Все, кто в это время был при ней, опустили на колени и помолились, и возблагодарили Господа за исцеление болящей.

Тут же поднесли Вере по её просьбе то Евангелие, что мирно лежало на столе в келье и ждало, когда его владелица очнётся от сумрачного потаённого сна.

Вере развернули Евангелие, открыв его, опять же по её тихой просьбе, на особо любимых ею страницах. Перелистали жёлтую старую бумагу, чьи углы, истончившись, уже осыпались под пальцами, как пыльца с крыльев бабочки. Две монахини стояли и держали перед лицом Веры Евангелие: сестра Васса и престарелая сестра Елисавета, уже собиравшаяся в дорогу к Богу. Они держали книгу, а Вера читала, и губы её с трудом шевелились, и голос еле доносился до монахинь, но всё же слова различали они.

Окончание. Начало в № 1-2, 2021



«Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришёл час ее; но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Так и вы теперь имеете печаль; но Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас; и в тот день вы не спросите Меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам: о чем ни попросите Отца во имя Мое, даст вам. Доныне вы ничего не просили во имя Мое; просите, и получите, чтобы радость ваша была совершенна».

Так прочитала Вера и жестом показала, чтобы Священную книгу убрали от её глаз. Монахини сделали это. Вера сказала им:

— Вот, читаю буквы и слова, а будто бы я все слова позабыла. И звучат они мне как в первый раз. Как свежий снег летит мне в лицо. И читаю вслух, а будто бы это не я, а голос со стороны слышу. С небес. Скажите, сёстры, верно ли это? И как меня зовут, сёстры? Я имя своё забыла.

— Тебя звали Вера, — отвечали ей монахини, — и если будешь принимать иночество, то, верней всего, Верой же тебя и нарекут в монастыре. Потому что это хорошее имя, правильное для монахини имя. Без веры мы никуда. Поэтому пребудь Верой! Помни: принявшая обет живёт уже не для себя, а для всех.

Вошла в келью игуменья Мисаила, тяжело переставляя старые ноги, и сказала, обращаясь к лежащей на постели Вере:

— Читай душеспасительные книги и повторяй великие молитвы. Без молитвы нет человека. И без Бога нет человека. Несчастен тот, в ком Бога нет. В ком не живёт Бог, тот и дело своё делать по-божески не может; да, он делает его, но оно нечестиво и мгновенно, оно очень быстро умирает: вздохнуть не успеешь, а умерло уже. Учись, Вера, страху Божию! Страх Божий — не тот страх, который ест тебя изнутри. И всю изгрызть может, и в страх превратишься; это человеческий страх. А Божий — это когда ты от восторга трепещешь перед всякими Его делами и молишься: Господи, да будет воля Твоя, а не моя. Повторяй, Вера, так и люби Бога, Создателя своего!

Вера закрыла глаза и медленно перекрестилась. А мать игуменья торжественно перекрестила её издали, стоя при дверях. А потом подошла близко к её ложу, наклонилась над Верой, ещё

раз наложила на неё крестное знамение и поцеловала Веру в лоб. Сказала:

— Долго не залёживайся, очнулась — так вставай и к делам приступай! Много дела у человека на земле!

И встала Вера, и приступила ко множеству дел своих на земле.

\* \* \*

**Ж**ивя в монастыре послушницей, она часто вспоминала Сибирь. Её родина представляла ей в призрачном радостном сиянии: когда зиму вспоминала, то ярко светились под полозом санок алмазные снега, когда вспоминала лето — светлая дымка поднималась над енисейскими крутоярами, над Столбами, и малахитово-зелёная шкура тайги источала слабый свет красных сосновых и золотых лиственничных стволов. Она-то думала, что жила среди гибельных снегов и выюжных секир, а оказалось на деле, что в роскошном ледяном дворце, с анфиладами и башнями, — царевной жила она, и вся Сибирь была под её властью: хочешь — в тайгу поезжай за грибами-ягодами, хочешь — в степь, в солёных лечебных озерах купаться, грязью себя облеплять, чтобы суставы не болели. Хочешь — сиди на берегу Енисея, удочкой жирного чира таскай! А рядом бывалые рыбаки сетями тянут осетра и тайменя. Запрет, не запрет — древний человек рыбу ловил, рыбалим и мы!

Сибирь, родина... Вера так остро отсюда, со Святой Земли, чувствовала родину, что её золотая осенняя игла всё время торчала у неё под сердцем, под ребрами. Родина, плоть и кровь. Просторы, боль, ледяная берёза, суровый ветер, пугающий далёкий горный хребет, отроги и увалы, и ураган переваливается через них, насылая на город тяжелые чёрные тучи, и охупками чёрной бараньей шерсти летят по ветру они, закрывая казачий суровый Красноярск от всезрящих очей Бога. Бурливый, дымливый Енисей! Не замерзаешь зимой! По лету плывут по тебе плоты, связаны стволы в молчащий сырой рыжий орган, на плоту сидит кухарка, жжёт костер, в котле варится уха из хайрюза, мужики-сплавщики стоят на краю плота, из-под руки глядят вдаль. Всё вдаль и вдаль! Человек устроен, чтобы глядеть вдаль; и Вера глядела. Да редко. Так и

прожила жизнь, а глядела всё на то, что ползало у ног её, совалось под руки. Трудно глядеть вдаль. Глаза слезятся и болят. И зрение теряется. Так почему отсюда, из святого Иерусалима, едва мо-нахиной не став, она так ясно и больно, в святых подробностях всех, видит родину свою?

Русь, она шепчет забытые, старые слова, их хранят старухи в сундуках, выбрасывают их на помойку, сметя веником в железный совок: лонись, намедни, давеча, надясь, посолонь, кольк-раты, загнетка, камка, студенец, — говоры её ба-бок и прабабок всё слышнее, громче повторяла она, и вставлялись они в обыденную нынешнюю речь, как гладко отшлифованные кабошоны в грязную позеленелую медную скань.

Сибирь всё настойчивей говорила в ней, бормотала, кричала, ругала её, пела ей на ночь колыбельную, — Вера то и дело слышала снеж-ную переливчатую арфу; слышала Сибирь, ко-торую покинула она, давно или недавно, ей до этого дела уже не было, времена сместились, и другая тишина внутри настала. А Сибирь в той тишине пела и сказывала, и надо было всё жадно ловить, и слушать, и повторять, и запоминать, и молиться в слезах этими вот та-ёжными словами.

Верин отец, что сидел в лагере за колючкой, и его ровесники, прошедшие войну, вставали за её плечами огромным незримым хором, и пели ей, не размыкая губ, мычали, гудели бесконечную литию, а потом пели вьявь, выпевали слёзные предвечные слова, — эти мужики в робах и полу-шубках, в чёрных ватниках, драных собаками, и в шинелях, что бьют по пяткам, по обляпаным грязью сапогам, шли на неё, надвигались из мглы и пели, пели ей о родине: о той земле, в ко-торую все они легли. Смерть не отпетая, не оп-лаканная! Сколько людей вот так лежали в сы-рой земле! Христос воскрес, а они? Умереть — и не воскреснуть! Да так ведь со всеми нами! Ни-кому не избежать участи своей! Так почему же все мы идём, идём в Град Небесный, в Небесный наш Иерусалим, и всё никак не дойдём, хоть и видим уже там, за поворотом, за белесо, бессон-но дымящимся окоёмом, прозрачные сияющие храмины его?!

Вера видела родину, слышала пение лёгших в землю людей, плоть от плоти и кость от кос-ти её; а ещё она видела Небесный Иерусалим

— ей о нём рассказала однажды Васса, разме-шивая в большой алюминиевой миске жидкое тесто для оладий.

— Верочка, а самое прекрасное — это Небесный Иерусалим! Он — наше обетование! Вот будет большая война, и все люди, звери несчастные пере-бьют друг друга, а потом те, кто любил Бога больше всего, спасутся: Бог соберёт их в Небес-ном Граде Своём. Мы здесь и сейчас, Вера, толь-ко пришельцы. Там же мы будем истинными жи-телями. Там будет настоящая жизнь! А здесь — тьфу! Сон! В стенах Града того будут гореть дра-гоценные камни. Я наизусть выучила какие! Яш-ма, сапфир, халкидон, изумруд... сардоникс, ну это агат... сердолик, хризолит, берилл, топаз... вот забыла... а, да, хризопраз, гиацинт, аметист... Улицы его из золота! И весь он будет как невеста, приготовленная для чертога брачного! Так в Пи-сании сказано! Это будет наш единственный, Ве-ра, и вечный дом! До тех пор, пока звёзды стоят и солнце светит... Да ты не слушаешь меня!

Вера слушала Вассу и не слышала: за её спиной опять пели гудящую военную песню без слов убитые в боях мужики, и расстегивал отец Верин гимнастёрку, из-под ворота нательный крест до-бывая, а лагерный вертухай врывался в барак и рвал с шеи у отца витой грязный гайтан, креста лишая заключённого человека. Кто утешит? Ко-му молиться? Двадцать пять лет! В снегах и моро-зах! Впроголодь! Работать на износ! Это хуже войны. Кто помянет всех, что легли в ту землю — не под разрывы и пули, а в вечную безмолвную мерзлоту? Кто о них заплачет?

— Вера! Да что ж ты плачешь-то, а! Что я те-бе такого сказала!

Вера сквозь слёзы смотрела на Вассу, на миску с тестом и большую серебряную ложку у неё в руках.

— Васса, прости. Я отца вспомнила.

Васса ставила миску на край стола.

С иконы, с горы Фавор, смотрел на них, поднимая высоко руки, Христос в бело-снего-вом, метелью развеваемом хитоне. Бог одет был во свет.

— Это ты меня прости. Давай за отца твоего помолимся! Своею смертью умер? Или убили? На войне?

— На войне, — обманно шептала Вера.

— На афганской? Да? Ох, Царствие Небесное!

Обе опускались на колени и молились, глядя на святую гору Фавор.

Закончив молитву, сестра Васса вставала, отряхивала рясу и деловито спрашивала Веру:

— Хочешь, на гору Фавор поедем? Не проблема! Я матушке Мисаиле скажу. Она нас с миссией отправит. В монастырь. Там женский монастырь Преображения, на Фаворе. Хочешь увидеть место, где Христос в небесах воссиял над учениками вместе с Илией и Моисеем? Хочешь?

Вера не вставала с пола, подобно Вассе, а садилась, и так сидела на полу, крепко обнимая колени.

— Хочу. Только и у нас в монастыре дел много. А Фавор я и во сне увижу. И Небесный Иерусалим тоже.

\* \* \*

Она забыла, что такое в зеркало смотреться. Зато другие люди смотрелись в неё. И многие пытались увидеть в ней себя. Вера и раньше-то в зеркало глядеться не любила, а в монастыре и зеркал не было, это было прельщение, надо было сторониться зеркала, как дьявола.

Вере шептали: станешь монахиней, уневестишься Жениху Небесному! Вера пожимала плечами, опускала глаза и смотрела на носки своих башмаков. Ей в монастыре подыскали подходящую, по ноге, обувку.

Васса однажды заикнулась Вере о её прежней жизни. О замужестве спросила: как, мол, ты там, в миру, замужем была или нет? Вера помотала головой, и неясно было — нет или да. Васса замолчала и больше не заводила речь на эти темы.

Сестра Васса, сестра Катерина, мать Варсонофия, мать Димитрия и другие послушницы и монахини не рассказывали Вере, как они сюда попали и как прежде жили. Да Вера и не просила. Она вспоминала своего любовника — того, с больными насквозь потрохами. Вспоминала и жалела. И молилась за усопшего, за живую на небесах душу его.

Матушка Мисаила заговаривала с ней о постриге. Вера отнекивалась: мне и в послушницах хорошо. Всё-таки смирилась. Попросила: имя мне моё оставьте. «Нельзя! Другое надо!» — строго ответила Мисаила. А потом прикрыла тяжё-

лыми веками пронзительные глаза и вымолвила тихо: «Да, имечко у тебя мирское такое... что надо имечко. С ним ты на Страшном Суде не пропадёшь». При обряде пострижения прозвучало под сводами храма её родное имя. Монахини переглядывались. Мать Мисаила нарушала закон. Во имя чего? Об этом знала она, игуменья, да ещё Бог, мнили монахини.

В первую ночь после пострига уже инокиней Вера легла в свою жёсткую постель, но уснуть не могла — слышала голоса. Голоса вокруг плакали и стонали. Она иногда разбирала слова: по ней сокрушались. Голоса вроде звучали родные, знакомые. Вот мать, вот челябинская убитая сестра её Марина, вот покойница Анна Власьева — северная кружевница. Вот слабый, с небес, голос отца. Вот старушка Расстегай, и смеётся меленько, хохотом дребезжит. Потом все голоса внезапно слились в хор и запели. Они пели хвалу Царю Небесному.

Вера всё делала в монастыре, что прикажут. Потом в голову ей пришла блажь, а она думала, что блаженство. Попросила мать игуменью разрешить ей жить не в келье с сестрой Вассой, а одной, в монастырском саду. Мать Мисаила постучала себя кулаком по виску: «Ты думай, что говоришь!» Потом замолчала и стала думать сама.

И — разрешила.

Блажь матери Веры была исполнена. В саду разбили палатку. Вера спала в палатке на тонком матрасе, укрывалась кошмой, под голову подкладывала свой старый красноярский ранец. Вставала рано утром, натаскивала воды в ведре, умывалась холоднющей водой, смеялась, глядя на встающее солнце. Потом читала Евангелие и молилась.

Однажды, ночуя в палатке, она увидела странный сон. Огонь, много огня, и прямо в огонь въезжает автобус, а она едет в том автобусе. А огонь встаёт кругом, стеной. Вера проснулась в поту, привскочила на матрасе, отирала мокрое горячее лицо холодными ладонями.

Сон толковать не стала: бывают сны от Бога, а бывают от дьявола. Молчать надо и молиться.

И Вера молчала и молилась.

А однажды в саду среди апельсиновых деревьев, яблонь и персиков она увидела настоящего Ангела. Ангел медленно шёл между фруктовых деревьев, его ноги не касались земли. Вера зача-

рованно глядела на Ангела. Она хотела спросить его о чём-то важном. Ангел не смотрел на Веру. Он смотрел вдаль, и его широко открытые прозрачные глаза насквозь просвечивало солнце. Плоды, золотые, алые и зелёные, свешивались с ветвей, тянули ветви вниз, к земле. Ангел тихо шёл над землей. Вот он прошёл мимо Веры. Вера хотела идти вслед за ним. Но её ноги стали как чугунные и приросли к земле. Она еле нашла в себе силы перекреститься.

Наблюдала, как Ангел растворился в утреннем тумане.

Подумала: «Если это соблазн и от беса видение, пусть я провалюсь под землю!»

Не провалилась. Стояла под лучами солнца и смотрела на небо — туда, где уже шёл лёгкими стопами её Ангел.

На службах Вера стояла в толпе сестёр и матерей, чувствовала локтями, спиной и животом тепло их тел. Всё живое хотело жить. Каждая монахиня в монастыре хотела жить, прекрасно зная о бренности и тщетности всего земного и о том, что однажды и она уйдёт с лика земли. И каждая молилась: не о себе — о людях. Чтобы им, людям, Господь даровал побольше лет жизни.

Каждая о себе так думала: я малая бедная сошка, нищая мошка, хлебная крошка, меня со стола стряхнут и не заметят!

И Вера так же думала о себе.

Но иногда в голову лезли другие мысли. Да прямо на службе, вот грех!

Нет, она не помышляла о мужчинах, о любовных поцелуях, ни о какой грешной плоти; она думала о том, что вот её заточили в монастырь как узницу и что она никогда не увидит теперь Сибирь.

И при слове «никогда» холодный пот — пот смертной тоски — окатывал её, и не в радость были ей песнопенья и воздыханья, и гласы хора, и все кондаки, и ирмосы.

Часто монахини заставляли мать Веру в монастырской библиотеке: Вера открывала для себя новую землю, где буквы звучали, а слова текли и летели, и наплывали из такого древнего времени, что оторопь брала и морозом схватывало спину, под лопатками — там, где у ангелов крылья растут. Она еле поднимала и, кряхтя, таскала тяжелые фолианты. Листала наугад. Буквы сыпались чёрными зёрнами.

Оживали смоляными нотами под руками незримого музыканта. Когда Вера читала про себя, а когда — и вслух, шёпотом. Ей важно было проговорить вечность, чтобы она зазвучала.

...зеркало, зеркало... сон...

...жизнью дух живой спалён...

...чёрный крест. Она сама этот крест теперь. Она к Богу запросто открывает дверь.

...Господи, услышь. Господи, прости. Я песню — птицей держу в горсти.

...чёрная ряса. Чёрный кlobук. Чёрный крест сильных рук. Я ещё сильна. Я всегда одна. Я среди людей. Какая тишина.

...А ещё после таких чтений на неё ночью наплывали горящие буквицы, налетали слова-бабочки и птицы-видения. Время расступалось, как Черное море перед Моисеем и народом его. Она стояла над морем времени, в руках у неё был большой половник, которым на монастырской кухне мать Варсонофия, дюжая крестьянка из-под Припяти, помешивала постные щи; и Вера точно таким же половником помешивала чёрно-золотую сумасшедшую жидкость, она дымилась, вспучивалась и булькала в котле. Это время варилось. И Вера была его поварихой.

И рот её сам раскрывался; и над страшным вавилом глотка сама пела то, что слышали лишь полотняные туго натянутые стены палатки да ночной сад, да нагретая за день земля, да высокое недосягаемое небо.

\* \* \*

*Жадно схлестнутся над жаркой сухой землёй  
ветра.*

*Один царь другому злобно на весь мир крикнет:  
пора!*

*Железные копья туда и сюда полетят.  
И не будет дороги вперёд.*

*И не будет дороги назад.*

*Зачем же на свете между людьми любовь жила?  
Скиталась, бродила, без роду-племени, без угла,  
Без чёрствого, в голод,*

*с кровью и со слезами куска,  
Когда вокруг пламена до небес восстают  
и дотла сгорает тоска.*



— Господь.

Мать Вера смотрела на мать игуменью сверху вниз. А будто снизу вверх. Всё вверх и вверх.

— Значит, ты Божия душа, Вера, — со вздохом вымолвила мать Мисаила.

— И вы Божия душа, матушка.

— Все мы Божьи души!

Широкая грудь игуменьи поднималась тяжело и часто, и колыхался на животе огромный крест.

— Да. И сейчас нас Господь видит и слышит.

И тут произошло непредставимое. Вдруг жалобно сморщилось коричневое иссушенно-загорелое лицо древней, как земля, матери игуменьи. И щедро, быстро полились слёзы по земляным щекам, по змеиным расщелинам морщин, и ткань рясы тут же промокла на обвислой груди от щедро льющихся слёз.

— Да... видит и слышит! Да-да, и видит, и слышит, кто я и что я! Вот ты святая. А я — если б ты знала, кто я такая! Вот сейчас и скажу. Возьму и скажу! Я — преступница! Да такая, что тебе и не снилось! Ты о таких-то и не слыхала никогда! Все вокруг строили коммунизм... война отгремела... все жить хотели, смертельно хотели жить... а я... Я — со смертью обнималась! В блокаду — выжила! А с бандитами связалась в Ташкенте. Столько людей убила! Да, этими... этими вот руками, — руки перед собой протянула, и руки дрожали, — столько народу на тот свет отправила! И ничего, земля подо мной не разверзлась! А потом меня украли. И увезли в Турцию! И там я работала... язык сейчас не вымолвит... а слушай, слушай... в весёлом доме. Да! В борделе! Кто только меня не... распинал... Я... повеситься хотела... Уже, знаешь, петлю из ремня сделала! А ремень — из брюк у клиента выгащила! И к люстре присобачила! И на стол уже влезла. Люстра качается надо мной. И — горит! Я свет выключить забыла. Так при свете мы и... барахтались... свет яркий, люстра так ярко пылает, хрусталём переливается... глазам больно... И вот на столе стою... босиком... голяком... даже и без сорочки... и креста на груди у меня нет, заметь... нет креста, а носила, не по-советски, да, по-вечному, носила — как вызов; в бане, когда мылась, все на меня тарачились как на прокаженную... Бабка меня крестила... самарская бабка моя... малышкой ещё... у нас весь род из Самары... Крест с меня сорвали, как в шалман этот турецкий привезли... голову

задрала, люстра светом прямо в глаза мне бьёт... И я — вижу — свет!

— Свет, — послушно и беззвучно повторила Вера.

— Да! Свет! И вдруг я вижу себя. Мёртвую. Даже и не во гробе! А завёрнутую в грязную ткань... и лежу в мусорном ящике... и меня обливают бензином, и поджигают... и хохочут во всё горло... хохот слышу... и огонь как поднимется! Прямо в лицо мне пыхнул. И я... обожлась и отпрянула! От огня этого! Стол покачнулся, ноги заскользили, стала падать... Уцепилась за ременную петлю, люстра как грохнется с потолка вниз! И вместе с ней я на пол упала! Расшиблась вся в кровь! Костей не соберёшь! Руку вывихнула. Боль дикая! Да я — живая! Лежу на полу и смеюсь! Не смех, ржанье лошадиное! Свет погас! Я — в стеклянных осколках валяюсь! В грязи! Покалеченная! И слышу — с кровати — храп. Храпит мой ненавистный мужик. Даже и не проснулся! Я поднимаюсь, босыми ногами на острые стекляшки наступаю, рубаху накинула, прочь иду. Как я мимо охраны прошла — не знаю. Может, тоже все спали. А может, подумали: с ума девка сошла, умялась, вон как извозили, изодрали её, пусть воздухом подышит! Я и дышала... шла и дышала... дышала и шла... шла... одна... в ночной рубахе... по ночному Измиру... шла, шла... одна...

— Одна, — прошептала эхом Вера.

— И пришла... в порт... И там меня подобрали. Взяли на корабль! Моряки! Не наши, не советские! Французские. И привезли в Хайфу. Руку мне вправили. Там у них доктор корабельный... так изящно лопотал... ни словечка я не понимала... Кормили хорошо... и — не издевались... И не спрашивали, кто я: все сразу поняли, что — шалава. И не догадались даже, что — русская... Может, думали, полька... В Хайфе отвезли меня в церковь пророка Илии. Я там долго при церкви жила. Посуду мыла... для трапезной... всю грязную работу делала... Советскому посольству меня не выдали. Храм — он как убежище в войну. Спрятался — спасся... Смерть мимо просвистела... Там меня и окрестили во второй раз. Два раза я родилась! Радость! А сейчас вот вижу радость твою. И понимаю: никогда я такой радости не испытывала! И другим — не дарила! Вот как ты! Ты, милая, ты...

Вера стояла перед игуменьей. Руки её мелко дрожали.

— Ты... блаженная...

— Да ну, бросьте, — еле слышно сказала Вера.

— Да! Ты — блаженная! Ты во блаженстве живёшь. Во блаженствах — тех, что в Нагорной проповеди! На тебя Господь дохнул, дыханьем обласкал тебя и тихо сказал... нам всем здесь сказал: сие есть возлюбленная дочь Моя. Вот так-то вот, мать Вера! Вера... Верушка...

Игуменя скрючилась, стала падать лбом себе в колени. Вера быстро присела на корточки рядом, просунула руки игуменьи под мышки, поддержала её. Уже целовала её виски, изморщенную кору щёк под чёрным апостольником, лоб, похожий на гриб сморчок, даже в лиловые, жалким пустым стручком высохшие губы поцеловала.

— Вы только не плачьте...

Вера ужасалась и радовалась исповеди Мисаилы.

И она не знала, что делать с ней.

Сочувствовать? Смолчать и забыть? Вслух вот сейчас помолиться?

«Она меня Верушкой назвала».

Вера обняла и крепко прижала мать Мисаилу к груди.

Так сидели обе, обнявшись.

И плакала мать Мисаила, крепко, крепко к Вере прижавшись, всем невесомым предсмертным выжженным телом, всей взыскующей любви душой.

И целовала мать Мисаила впалым старческим ртом плечо Веры и грудь её, закутанную в чёрную ночь пожизненной рясы.

И мать Мисаила вырыдала в плечо Вере:

— Доченька.

\* \* \*

**И**ные монахини умирали, и отпевали их честь по чести, иных новых послушниц выпускали в монастырские ворота. Пели птицы в ветвях счастливого сада. Жизнь в монастыре будто замерла, такая прозрачная и чистая была она, если смотреть издали. Если ближе подойти — видать было и ночные тоскливые слёзы монахинь, и для кого-то непосильный труд разнообразных послушаний, и грешные смешки, и грешные наго-

воры; но грех тут же клался на поднос, на всеобщее обозрение, и тот, кто его породил, вынужден был и прилюдно, и тайно отмаливать его. А Вера всё постилась, всё молилась, и всё чаще приходили к ней монахини со своими горестями и радостями — на совет, на общую молитву.

Вскоре начали появляться у Веры люди извне. Известия о матери Вере проникли за монастырскую ограду. Людям, что приходили к ней за исцелением от скорбей, мать Вера говорила самое главное: то, чего от неё и ждали они. Кому нужен был Ангел — Вера была Ангелом. Кому нужна была строгая мать — Вера была строгой матерью с невидимой розгой в руке. Кто приходил измученный жизнью за небесным утешением — Вера щедро, изобильно давала ему это утешенье. Кто брал у неё благословения — самые разные: на постройку храма, на взятие к себе в семью приёмного ребёнка, на паломничество к святыне, на венчание, на то, чтобы плод в утробе матери рос крепеньким и здоровеньким, на сложную хирургическую операцию, на малевание картины или пение песни, и Вера всем давала благословение такое, а иногда и не всем: перед нею вставал человек с грязной душой, и она советовала ему: отмойся сначала, молись и постись, и уверуй истинно, и очистишься, а потом проси благословения!

Иногда Веру спрашивали: «Мать Вера, а вот что это значит, если я слышу голос?» Вера уточняла: «Откуда голос, с небес? Или из-под земли?» Её спрашивали в свой черёд: «А как узнать, от Бога это голос, от людей или от беса?» И тогда Вера отвечала: «Молитесь — и ясно воссияет ответ вам. Голос Бога не пропадёт, не исчезнет! А голос дьявола рассыплется в прах и сгорит».

Так испросили у Веры благословенья строители, они задумали возвести на Святой Земле, в Кесарии, храм в честь святителя Николая; а Вера сказала строителям: «Ещё река времени долго мимо людей протечёт, только тогда Господь даст разрешение на возведение такого храма». Строители удивлённо спросили: «А ты, мать Вера, откуда знаешь про это?» Вера улыбулась: «Я вижу».

«Она видит!» — разнёсся по монастырю слух.

«Она у нас прозорливая», — вздыхали монашки.

И кто-то восхищался, а кто-то завидовал втайне.

Но человек грешен и слаб, и видела, чувствовала Вера тайную зависть иных монахинь, и молилась за них. Горячо молилась.

И заставляла монахинь этих, завистниц, на ранней обедне, во храме, в слезах.

Бесконечные слёзы текли по их щекам, и, сами не зная, что это с ними делается, они склонялись перед Верой, брали в свои руки её руку и просили у Веры прощения.

— Прости нас, грешных, мать Вера!

И Вера тихо улыбалась, накладывала на себя крестное знамение и отвечала, как в Прощёное воскресенье:

— Бог простит.

\* \* \*

Кровать за Верой в келье сестры Вассы сохранилась. К Вассе никого не подсаляли. Монахини прекрасно знали: зимы в Иерусалиме могут и холодными быть, и даже снег может землю устлать, не хуже чем в России.

Вере разрешали брать в палатку толстенные фолианты из монастырской библиотеки. Она чаще всего утаскивала к себе в холщовую скинию три увесистых книжищи: Библию, Четьи-Минеи и Псалтырь.

Книги эти воздвигались для Веры дворцами величиной с гору, по ним можно было бродить, спать в них и бодрствовать; в них можно было жить.

Она и жила.

Однажды так сидела она в палатке — с зажжённым фонарём, с Библией на коленях. Книга была раскрыта на странице, где резво бежала старославянская вязь, плелась в кружевные узоры, — о святой героине Юдифи и о безумном тиране Олоферне. На гравюре, рядом с чёрными на жёлтой бумаге буквами древнего языка, мерцала Юдифь ступнями и ладонями из-под длинных одежд, широко открытыми, испуганными глазами; она, пятясь от застланного звериными шкурами царского ложа, волокла за волосы отрубленную голову.

Вера пристальней всмотрелась в фигуру женщины. «А что, если, — спросила она себя, — взять да и убить злого правителя, главного в мире царя, чтобы убежать от войны? Свято место пусто не

бывает, — усмехнулась она сама над собой, — тут же на трон посадят другого. И ещё злее». Мир слишком резко и больно стал делиться на добро и зло — Вера всё острее чувствовала это.

И где таится тот царь? Где прячется?

«Но ведь убийство — грех... грех... Значит, не всегда грех?..»

Тяжелющая книга давила на колени. Фонарь мигал. В отогнутую, зацепленную железным крючком полотняную дверь палатки налетал холодный ветер. Ближе к утру сухая земля подмерзала, и с туманных небес шёл, как на родине, лёгкий сиротливый снег. Снег набивался холодной ватой в земные щели и впадины. Земля посверкивала под Луной, будто плат золотного шитья. Послышался шорох.

Вера вздёрнула голову.

Ветер играл, шуршал страницами старой Библии — ломкими, как печенье.

Женщина в чёрном приближалась к Веринной палатке. Вера подумала: монахиня. В прогал холщовой двери видела подол её рясы и медленно ступающие ноги в разношенных башмаках.

«Среди ночи идёт меня проведать. Не замерзла ли я тут...»

Монахиня подошла ближе, вот стояла уже возле палатки, и Вера захлопнула Библию, положила на матрац, встала и вышла под звёзды. На ветер.

Вера смотрела на женщину.

Женщина смотрела на Веру.

У них было одно лицо.

Одно — на двоих.

Каждая из них гляделась в другую, как в зеркало.

Они стояли друг против друга, как на войне.

Под их ногами тускло вспыхивало старое серебро ночного снега, чеканными извивами бежало по чёрной и рыжей железной земле.

Вера вмиг замёрзла. Дрожала.

«Опять... Опять она пришла. Я — к себе — пришла! Но я ли это?»

— Здравствуй, — сказала она сама себе.

«Я правильно сделала, что первая поздоровалась».

Её отражение в зимнем зеркале без улыбки смотрело на неё.

Женщина разлепила губы:

— Здравствуй.  
 Стояли, молчали.  
 Потом Вера, дрожа, сказала тихо:  
 — Уходи.  
 И вот тут другая улыбнулась.  
 Содрогнулась Вера от этой улыбки.  
 — Думаешь, ты от меня убежишь? — спросила другая.  
 Вера попыталась ответить улыбкой на улыбку.  
 Не получилось.  
 — Я ничего не думаю.  
 Другая протянула вперёд руки, и Вера отшатнулась.  
 Из рукавов рясы, как из двух земляных ям, высовывались руки с длинными ногтями, и земля набилась под ногти, а может, это кровь засохла.  
 Вера зажмурилась. Сложила пальцы для крестного знамения.  
 Стала подносить руку ко лбу, а поднести не может.  
 Рука такая тяжелая стала, прямо чугунная.  
 И тут другая засмеялась.  
 Она смеялась беззвучно и страшно. Скалила зубы.  
 — Что, — спросила Вера сквозь зубы, — а так, без крестного знамения, не уйдёшь? Изыди!  
 Другая перевернула руку ладонью вверх. По ладони медленно полз толстый белый червь. Он таял на глазах. Стёк наземь водой, и другая вытерла ладонь о подол рясы.  
 Пока она руку вытирала, Вере удалось перекреститься.  
 Апостольник упал с головы другой, и в свете звёзд и луны сверкнула крохотная холодная серьга в бледной мочке уха.  
 — Изыди! — повторила Вера уже громче.  
 Другая глядела на Веру во все глаза.  
 «Да, я сама гляжу на себя; и я и есть диавол; и диавол, да, внутри нас, внутри каждого. Отрицаюсь сатаны и всех... деяний его...»  
 Верины губы слабо, жалко шевелились.  
 — Что, — спросила другая Вера тихо, — опять молишься? Всё молишься и молишься? Хорошо тебе. Ты не знаешь, что будет с землёй.  
 — Нет, знаю, — упрямо, тихо сказала Вера.  
 — Знаешь? Ну что?  
 — Будет над землёю Страшный Суд, — шептала Вера. Её чугунная рука кочергой висела вдоль те-

ла. Вере казалось: разрыли её могилу и на посмеяние вынули тело из земли.  
 — Ха! Суд! — Другая уже смеялась в открытую. — Да это же я тот Суд и сделаю! Я! И никто другой!  
 — Как ты смеешь! — шептала Вера.  
 Другая смеялась во всю глотку, громко и нагло. Звёзды снегом осыпались с небес.  
 — Смею!  
 — Есть ли ключ...  
 — Договаривай!  
 — Есть ли в небесах ключ от спасения? От нашего спасения?  
 — А! Пожелала спастись! Жить уж очень хочется! Да твоя жизнешка — маленькая, жалкая! Что тебе о ней печься! Всё равно умрём!  
 — От ухода ключ...  
 — От смерти, что ли?!  
 — От ухода нашего... всеобщего... от всеобщей... гибели мира...  
 — Ах, вот ты о чём!  
 Другая Вера оборвала смех. Её лицо стало злым и уродливым.  
 Вера гляделась в кривое злое зеркало. Не могла оторвать глаз.  
 — Да. Об этом о самом! Как нам спастись!  
 — Спасти? Разве вы не знаете? Вы же все знаете! Всезнайки! Каждый день твердите: бодрствуйте и молитесь! Молитесь! И ты думаешь, ваши молитвы вам помогут?!  
 Вера выпрямилась. Подняла лицо. Звёзды стекали с зенита на её затылок, кололи иглами ей щёки и лоб.  
 — Да! Если горячо молиться, Бог поможет! Бог тебя... — Теперь Вера протянула руку. Пальцем указывала на другую себя. — Всё равно одолеет...  
 От тела другой шёл холод.  
 Всё внутри Веры вымерзло.  
 Она была зимняя земля, и снег, и лёд набились ей в песчаные складки и каменные морщины.  
 И другая наступила на неё, на землю, злой ногой.  
 — Я одолею всех. Но плевать на всех! Я и тебя одолею. Это главное!  
 Вера перекрестилась ещё раз. Это было очень трудно.  
 Рука наливалась лунной тяжестью.  
 Рука луной катилась в смоляном небе, и не было ни конца ни краю тяжёлому крестному знамению.

Другая отступила на шаг.  
 – А ты знаешь, кто я?!

– Да! – крикнула Вера. Крик истаял в голых ветвях зимнего сада.

– Но ты не знаешь, что я с тобой сделаю!

– Ничего ты со мной не сделаешь, – сухими губами вышѣптывала Вера, – ничего...

Другая опять улыбунулась дико, страшно:  
 – Вот увидишь!

– А когда? – голос Веры отлетал сухим листом.

– Так тебе всё и открой!

– Зачем ты ходишь за мной? Что я тебе далась?!

– Ты...

И крикнула другая зычно, зверино, на весь тихий сад:  
 – Святая!

И столько было в этом крике презрения, ненависти и злобы, что Вера содрогнулась.

– Я не святая, – сказала Вера. – Я – грешница!

Пот тѣк по её лицу как слѣзы.

– Ты знаешь будущее!

– Не знаю!

– Не ври! Знаешь! А люди знать его не должны! Песни им поѣшь!

– Я сама себе пою!

– А люди всё равно слышат! Я всё равно убью вас всех! Натравлю людей друг на друга!

– Не убьѣшь.

– Убью! И землю убью! И тебя!

– Меня, – шептала Вера, – меня... не убьѣшь... Ты – это я!

– Да! Я – это ты! Только без твоего сердца! Я тоже вижу всё! Как и ты! Но моѣ сердце не бѣтся! Оно железное.

Вера подняла руку и тяжело, медленно перекрестилась в третий раз. А потом поднесла шепот к сердцу и медленно перекрестила его – под ночной, холодной рясой.

И другая – отступила.

И ещё на шаг. И ещё. И ещё.

– Я приду за тобой. Когда – не узнаешь!

Вера глядела на себя широко открытыми глазами.

Положила ладонь на грудь, чтобы слышать биение сердца.

Еѣ сердце билось больно, горячо. Толкалось в ладонь. Жило.

Ещё живое.

– Узнаю!

– Нет! Ты только про других всё знаешь! Про меня – не узнаешь ничего!

И крикнула презрительно, визгливо:  
 – Ведь ты же не смотришь в зеркало!

Пятилась. Уходила.

Вера глядела себе вослед.

Бледное лицо над чёрной рясой таяло в морозной ночи.

Сухие листья валились с ветвей, шептались под ногами.

– Имя! – бессильно крикнула Вера уходящей. – Назови своё имя!

И далеко, как с того света, до Веры донёлся птичий клекот:  
 – Ты же знаешь его!

– Но тебя зовут не Вера!

Далѣкий призрачный ночной смех был ей ответом.

Ночь вспыхивала и гасла в замерзших ветвях.

Снег мерцал на чёрном пепле земли славянской ли, арамейской вязью.

\* \* \*

*Конец Мира. Это значит: конец Земли.  
 Вот и кончено бесконечное бытие.  
 Железная саранча полетит из расщелины,  
 – и в снежной пыли  
 На морозе под ветром забьѣтся чужое бельѣ.*

*Всѣ исподнее вывернут. Всяк будет нищ и наг.  
 Всяк в другого будет глядеться, как в зеркала.  
 Ты царь? А пошто в зеркале ты бедняк?  
 Не начать сначала. Всеобщая жизнь прошла.*

*И настает одна – на весь мир – всеобщая смерть,  
 И не только мы, но малая птица в холодной ночи  
 Всѣ поѣт, поѣт о том, о чём нам не посметь.  
 И прошу: крылатая, не пой до конца,  
 молчи, замолчи.*

*И к лицу моему кривое зеркало поднесут,  
 И не узнаю себя – череп, зубы, глазницы, скелет.  
 И, сверкая и грохоча, из земли воздымется  
 Страшный Суд,  
 А в громадном свитке небес о Земле  
 уже и помину нет.*

\* \* \*

После этой страшной незабвенной встречи в зимней ночи мать Вера стала больше молиться.

Она молилась и про себя, и шёпотом, и вслух, громко, крестилась широко, со слезами и улыбкой, и клала поклоны, много поклонов — сто, пятьсот, тысячу, она уже не считала.

К ней приходили люди, и она говорила: «Возвращайтесь домой. Кто пропадал, тот нашёлся!» Люди шли домой и находили там отца, что давным-давно ушёл из дома; сына, что малюткой потерялся на вокзале в суматохе переезда. Люди приходили, и она говорила: «Копайте за восточной стеной дома и клад найдёте!» Люди брали в руки лопаты и разрывали землю возле дома, думали откопать горшок с золотом, а находили старинную икону — Божию Матерь Троеручицу, и крестились на неё, и шептали: «А может, сам живописец апостол Лука её намалевал на святой доске». Ризы Богоматери отсвечивали тёмно-алым, вишнёвым, кровавым. «Я всеобщая мать, — шептала себе Вера, — деток своих уже никогда не сочту».

Вера молилась вслух, стоя на коленях у иконы Божией Матери Умиление, она знала, что её особенно возлюбил преподобный Серафим Саровский, об этом ей матушка Мисаила сказала; она произносила слова, а слова чудились ей языками огня, огни лизали тьму вокруг неё и тьму внутри неё, и очищалась душа от скверны, а свет отделялся от мрака, и слова текли настоящей музыкой, и Вера, сама себе удивляясь, говорила как пела:

— Господи! Ты знаешь всё, что у нас в сердцах живых творится. Ты держишь на ладони Своей Вселенную, Вседержитель Ты, Пантократор! Царь Иудейский, так кричали тебе там, на площади, когда захотели Тебя распять. Но Ты давно уже Царь Земной и Небесный! Взгляни на нас на всех! Мы, все живые, есть Твой храм. Мы — кирпичи Твоего храма. Сложил Ты нас, уложил тесно, плотно, чтобы храм сей не разрушился вовеки. А есть люди, что не легли вплотную в Твою кладку! Есть люди, что под стену храма Твоего себя кладут взрывчаткой! Летят в святые стены снарядом! Господи, прости им, ибо не ведают, что творят! Помоги им, как Ты помогаешь пра-

ведникам Своим! Устереги их, несчастных, от диавола. Диавол в людях сидит. Он живёт внутри людей, как червь, и гложет их. Съедают людей гнев, месть, злоба, зависть, желание разрушить всё Твое. Выедены люди уже изнутри диаволом. Господи Боже! Последний земной раз — помоги им! Помоги — нам! Крепко забинтуй наши раны. И диаволу — крепко руки верёвкой свяжи! И ноги! Чтобы шагу он не шагнул! Ты, милосердный Господь наш, трудно Тебе, но возьми, Господи, возьми жизнь мою! Не нужна мне она без Тебя! Если нужна моя плоть, моя кровь для Тебя — бери их! Если душа моя понадобится тебе — возьми её, да она и так Твоя! Ради одного святого имени Твоего я буду страдать, радоваться, жить. И умирать. Мне смерть не страшна с Тобой, Господи! Только восхить меня в Град Небесный, в Небесный Свой Иерусалим, а не низвергни в ужас огня адского, гееннского!

Так молилась Вера. На другой день она по-иному молилась, и так множество молитв говорила как пела она. Сестра Васса подслушивала её молитвы, застывала, внимая, как ледяная.

Множество молитв, как множество песен, звучало из её уст. Она уже знала много святых молитв, но всё равно пела свои.

Когда Вера ложилась спать холодной зимой — на жёсткое своё ложе в келье Вассы, перед её закрытыми глазами ходили ходуном, волновались водой под ветром старые больные картины. Серый, мятый холодными вихрями Енисей; старые скособоленные пристани на самой кромке каменных берегов; горы, поросшие ельником и кедром, мохнатые, грозные, тёмные, выставляющие небу угрюмые каменные лбы. Гольцы, подпирающие небо. Кружева, они из-под колюшек всё текли и текли, из-под высохших, слабых и прозрачных, как лёд, старых пальцев Анны Власьевны. А потом кружева за окном восставали до неба, радостно и безумно мела кружевная метель и заметала всё, что видно, и всё невидимое глазу: латунь старой посуды, старое медное позеленелое распятие на сморщенной старой груди матери, старую рубаху отца — мать подносила её к лицу, лицом утыкалась в неё и плакала, и утирала себе щеки соленым ветхим ситцевым комом. Жизнь на поверку оказывалась очень маленькой, такой маленькой, что не успеешь над ней и поплакать, а она исчезнет. Куда? Человека

закопают. И она, Вера, стояла на кладбище. А душа? Куда уходит душа?

Где она гнездится после того, как переходит ледяной каменный порог?

Не у Тебя ли, Господи, за пазухой?

«Я у Христа за пазухой, — шептала Вера себе, спев очередную молитву свою и поднимаясь с колен, — мне хорошо. Мне грех жаловаться». А родина всё равно обнимала её, тормошила, толкала в сердце холодным кулаком, и ломались железные, тюремные рёбра от такой забытой пылающей любви. Вера молилась и родине: в святой песне она плакала о ней.

И молитвы её были похожи на песни; и песни её были похожи на видения.

«Нашу Веру-то, сёстры, поещают видения!» — нашептывала сестра Васса монахиням. Монахини головами качали: «А видения те от Бога? А то доподлинно известно? А как она сама отличает? Вот иеромонах Серафим Роуз...» И долго монахини обсуждали, что говорил про туманные видения иеромонах Серафим Роуз. Бес или ангел посылает их? О чём поёт мать Вера ночами, перед тускло освещённым киотом, пока монахини коротко, тревожно забываются сном перед ранней — ещё зимний Орион в зените веретеном кружит — многозвёздной службой? А вы, сёстры, слова-то разбираете? А что, если кто-то из нас будет за нею ходить да тайком записывать? Уж больно любопытно, что она там бормочет. Не бормочет, а поёт, сестра!

А это одно и то же.

К матери Вере в монастырь стали приезжать из разных градов и весей не только простые люди, но славные-знаменитые. Когда ей сообщили, что один из великих земных владык прибыл в монастырь и хочет видеть её, она смутилась, туже затянула на горле апостольник. «Ко мне приехал? А вы, часом, сестры, не ошиблись?»

Человек оказался как человек. Не лучше и не хуже других. Почему-то захотел вытереть ноги на пороге её кельи, искал тряпку. Мать Вера низко поклонилась человеку. Пригласила сесть. «Это я должен вам предлагать сесть», — усмехнулся владыка. Он произнёс это по-русски. Вера, прихрамывая, отошла от двери и села на табурет напротив. Келья обняла их обоих густой тишиной. Вера заговорила первой. Она спросила владыку: «Откуда вы так хорошо знаете русский язык?» Он

улыбнулся: «Мой дед был родом из России. Он уехал в революцию. Ему исполнилось семнадцать лет в семнадцатом году. Он родился в Сибири, на Енисее». Кровь отлила от Вериного лица: «Где?» Владыка наморщил лоб: «В селе Под-те-со-во, кажется, это недалеко от Красноярска. Или я путаю?.. Не знаю?..» Вера смотрела на свои пальцы, на руки на коленях — они дрожали.

Потом они говорили долго, много. Без переводчика. Вера слушала владыку и думала: «Нельзя человеку без любви». Он очень высоко вознесён, и он один; и это самое страшное, одиночество на вершине. Владыка хотел, чтобы Вера сказала ему, что его ждёт. «Я не гадалка. Бог запрещает магию, ворожбу. Молитесь, если вы веруете! Если не веруете — молитесь, чтобы уверовать. У нас только два пути к Богу. Третьего нет». Владыка хрустел пальцами. На безмянном у него поблескивал травяно-зелёный квадратный камень. Вера неотрывно глядела на перстень. У неё закружилась голова. Ей показалось, что она с обрыва падает в холодный зимний Енисей, и снег, и лёд плывут под слабыми ногами. Она раскинула руки, как крылья, и стала падать с табурета. Владыка подхватил её, когда она перестала видеть мир.

Очнулась от того, что кто-то бил её по щекам, и голос матушки Мисаилы донёсся: «Очухалась!» Каплями отпоили, водой побрызгали, велели лечь и лежать, но Вера упрямо сидела на табурете, в сиденье крепко вцепилась и только спрашивала: «А он где? Где?» Ей сказали: владыка ушёл с Богом. Васса обняла Веру за шею и шепнула: «Он оставил тебе подарок! Вон, на столе коробочка! Мы не открывали!» «Ой, ещё как открывали, любопытные», — беззлобно думала Вера. Пошатываясь, она поднялась с табурета, подошла к столу и взяла в руки коробочку. Открыла. Из черноты ей в лицо ударили зелёные лучи.

Кольцо владыки с африканским изумрудом Вера носить не стала. Монахиня она, да и перстень велик, мужской же, сваливается с любого её тощего пальца. Она поднесла изумруд игуменье. Мать Мисаила надела перстень на указательный палец, он у неё был толстый, как сосиска. В пору игуменье оказалось кольцо.

Матушка Мисаила носила его с гордостью и тем, к кому благоволила, весело рассказывала: «Это мне сам великий владыка подарил!»

Вера тихо улыбалась.

\* \* \*

Богомазы иерусалимские малевали иконы и в дар приносили матери Вере. «Сегодня новодел, а завтра — Чудотворная», — думала Вера. В келье со стен глядели Одигитрия и Богородица Владимирская, святой Пантелеймон Целитель и святые страстотерпцы царь Николай, царица Александра и расстрелянные дети их, четыре великие княжны и цесаревич. Смиренно глядели большими чёрными глазами-озёрами — и круглые веки, и круглые брови, и круги морщин на высоком лбу — святая Екатерина, святая Варвара и святая равноапостольная Нина, просветительница Грузии. И над кроватью висела икона мучениц за Христа Веры, Надежды, Любви и святой их матери Софии. Вера взглядывала на тонко намалёванную превосходным мастером икону, глядела на тоненькую тополиную фигурку девочки Веры — выше всех она была из сестёр, старше всех, ей уже исполнилось двенадцать. А Надежде — десять, а Любви — девять. Раскалённые решётки! Били плетями, рвали тело клещами! Бросали в котёл с кипящей смолой! Тело подвержено боли, а душа крепче железа. Вера Римская, святая мученица за Христа. Истлели твои косточки! А ты, мать Вера, ты-то за кого жизнь отдашь? За Бога своего?

Подолгу стояла Вера на коленях, молясь перед иконами, ловя зрачками и щеками их золотой тёплый свет, — и души всех людей, за кого она возносила молитвы, толпились над ней, клубились перед ней, и она чувствовала себя среди них как в небе, среди облаков. Такое было не всякий раз на молитве, но, когда приходило, она радовалась всем сердцем и понимала: земля и небо сплетены, и горе тому, кто над этим нагло и хитро смеётся.

Она жалела презирающих и молилась за исполненных злобы.

Ее все спрашивали: «Не покинешь ли ты нас, мать Вера? Не уедешь ли вдруг от нас?» — «Нет, не уеду от вас, не покину, — отвечала Вера, — мне хорошо среди вас!» А люди вокруг неё, её бесчисленные гости, то умирали, то рождались, то женились, и опять к ней приходили, чтобы она их благословила и помолилась за них. Вместе с монахинями и матерью Мисаилой она сподобилась

увидеть и Патриарха Иерусалимского Феофила; она заглянула близко в глаза Патриарха и увидела там боязнь, мрак, ночь, страх и два желания: желание, чтобы скорее всё земное кончилось, и желание, чтобы оно никогда не кончалось. «Но ты же не канарейка, владыко, — мысленно сказала она Патриарху, — чтобы набросить на твою золотую клетку чёрный греческий платок!» Патриарх Феофил благословил монахинь; каждая подходила под благословение с восторженным лицом, и только мать Вера подошла спокойно, чуть хромая, и губы её были сурово сложены, и чуть раскосые, с сибиринкой, глаза в чёрных бессонных обводах, в окружьях вечной усталости, строго глядели над высокими восхольями скул. Патриарх вонзил в Веру острые лезвия зрачков и уже не вытаскивал. Вера положила правую руку на левую, по-русски сказала: «Благословите, владыко», — и согнула спину. Патриарх сказал ей что-то по-гречески, она не поняла. Рассердилась на себя: «Ни греческого, ни иврита, ни арабского, никакого другого языка не знаю, а ещё в Иерусалиме живу! Лентяйка! Швабра сибирская!» Обругав себя мысленно, устыдилась. Прикоснулась к руке Патриарха губами. Её губы были тёплые, а рука Патриарха — сухая, холодная, как осенняя, забытая в сарае вобла, в веснушках и в старческих смешных бородавках.

Каждую Пасху, в Страстную Субботу, в Храме Гроба Господня сам собою возжигался Благодатный огонь. Вера видела это чудо. Видела, как раздевали Патриарха Феофила перед входом в Кувуклию, и он оставался в подризнике и епитрахили, беспомощнее младенца. Белый подризник горел снеговым сугробом, увалом над Енисеем, подёрнутым первым льдом. Во храме пахло мёдом и воском, и было так жарко, что с людей тёк пот ручьями. Люди ждали чуда, и Вера тоже ждала чуда. Она закрывала глаза и пыталась мыслями переселиться туда, во тьму, внутрь Кувуклии, и глядеть глазами Патриарха, и щупать воздух и мраморную плиту Гроба Господня старыми трясущимися руками.

«Что он ощущает? Страх? Я бы тоже боялась. Говорят, он скинул с церковного трона прежнего Патриарха Иринея. В церкви тоже войны. И тут война! Зачем? Разве сама церковь — не любовь? Война — в мире, а любовь — в Боге. И тут тоже люди друг друга топчут и бьют, и говорят,

что во имя Бога. Где правда? Что есть правда? Вот он стоит там во тьме на коленях, владыка. И сейчас по мраморной плите потекут голубые звёзды. Синие зёрна чудесного света. Горящие капли, слёзы. Может, это Его слёзы? Всё Васса так и рассказала, а ей — другие сестры, а им — армянин архиерей, что входил в Кувуклию. Патриарх поднесёт к катящимся Божиим слезам ватку, и она загорится, затлеет, а тут и пук свечей подставят. Что это?!» Вера озиралась.

По всему храму там и сям вспыхивали красные, синие и золотые молнии. Люди начали кричать. Высоко поднимать свечи белого воска. От раскрытой двери Кувуклии быстро стали передавать горячие свечи, связки свечей: огонь, он не шёл по храму — бежал, летел, его хватили в кулаки, держали на ладонях, бросали в народ, в толпу. Огонь! Благодатный! Единственный!

«Вот, Вера, ты катилась-катилась, живая кибитка, по земле, да сюда, в Иерусалим, и докадилась. Как ты сподобилась?! А вот вышло же у тебя! Спасибо Анне Власьевне! Это я её приказ исполнила. И надо же, Благодатный огонь я вижу! И — в руке держу!» Она стояла, высоко поднимала пук свечей, а их, тонких и снежно-белых, в связке было ровно тридцать три, по числу лет Спасителя, и бешеный широкий огонь рвался вбок и вдаль, вырывался из её руки, летел над головами во всю глотку кричащих прихожан, над радостным криком и над неслышным плачем, летел, рвался, обнимал лица и пальцы, гас и опять загорался, взрывался бессловесной яркой музыкой, эту музыку можно было видеть, не только слышать, и осязать, и даже целовать! Вера поднесла горящий пук свечей к лицу и окунула лицо в огонь. Водила огнём по щекам, по лбу, по подбородку, по зубам, блестящим в торжествующей широкой улыбке. Огонь не жёг! Кажется, он даже пах — розой, нежным цветком, нет, диким шиповником! Вера смеялась во весь голос, гладила пламенем себе лицо и волосы. Держала над огнём ладонь. «Я ничего не чувствую! Никакой боли! Чудо! Огонь с небес! Из Небесного Града Иерусалима! Прямо оттуда! Там живёт сейчас наш Господь! Господи! Спасибо Тебе! Ты — радость!»

Люди кричали, молились и пели. Передавали друг другу огонь. Важно было передать друг другу огонь. Чтобы — жил. Чтобы — горел.

Вера оглядывалась: здесь, сейчас, при возжжении Благодатного огня, никто не был одинок. Вот в длинном платье худая монахиня. На неё, Веру, похожа. Только много старше. Она кричит как девчонка! Руки воздевает к тёмным, закопченным сводам храма! Медовое тёмное золото тучами надвигается на неё, время обращается в грозу и мечет молнии. Она пришла сюда одинокой, плачущей, её бросил муж, и у неё умер ребенок. Никто не мог её утешить. Только Бог! Его огонь — Его поцелуй! Вот старуха, она ехала сюда издалека, из далёкой северной страны. Седая северянка, она погибает от жары. Все дети её убиты на войне. Она давно и бесповоротно одна! А тут она — со всеми. И не только со всеми! Она — с Огнём. Золото Божьего костра! И все вокруг собрались, и руки греют, и смеются, и обнимаются. Вот бы все на всей земле так — обнялись! Ну что же вы не обнимаетесь! Обнимитесь!

«Обнимитесь!» — хотелось крикнуть Вере, и она зажимала себе рот ладонью, чтобы не завопить на весь храм. Она вдруг увидела себя со стороны, стояла сама перед собой, там, по другую сторону призрачного стекла, и глядела на себя: вот она Вера, апостольник её сполз с затылка, волосы висят вдоль щёк, глаза горят безумием радости, а рядом с ней смуглый потный араб, на плечах у него мальчишка сидит и громко в бубен бьёт, и хватает смуглого араба за мокрые кудрявые волосы, а по другую руку стоит дородная мадам, с её толстого тела стекают блестящие атласные складки дорогого модного плаща, высокая могучая шея обкручена мутно-серыми жемчугами, жемчуга и в ушах, перламутр помады блестит, а из глаз солёным салютом сыплются, искрами разлетаются по щекам мелкие слёзы: она плачет так щедро и неистово, что всё лицо уже давно мокрое, и шёлк плаща, и кружевной шарф, она просто заливается слезами, а за ней, в дымящейся тьме, мерцают лица, седые виски, золотые и синие белки сумасшедше-счастливых глаз, золотятся и летят волосы, огонь хватается их рыжей лапой, из мрака светятся руки, вздрагивают, трепещут, это уж не руки, а крылья бабочки, крылья ангелов, — они все, эти люди, будто в зеркале стоят и смотрят на Веру, а Вера — на них и на себя. Никто не одинок! Все — со всеми и во всех!

Так почему же она одна стоит, против людей и себя самой, стоит и держит бешено горящую

Пасхальную свечу, слепленную из многих тонких свеч, так слеплен мир из многих людей, живых и ушедших душ, и смотрит, смотрит в это тусклое зеркало мира, где все пьяны без вина от счастья жить и быть в Боге и с Богом, — зачем ей это созерцание, она хочет быть в хороводе, в хоре, быть внутри! Не отъединяться! Кричать — со всеми! Петь — со всеми!

Вера выше подняла сноп свечей Страстной Субботы, огонь из её руки метнулся вверх, к тёмным, будто подземным росписям храмового потолка, улетал умалишенной золотой птицей и всё никак не мог улететь, всё ещё был с ней, реял над ней. Она задрала голову. Нельзя смотреться в зеркало. Все, кто ушёл в зазеркалье, умерли. Она одна жива. Нет! Она не одна. Все эти люди — они здесь, по эту сторону зеркала. Они отражаются друг в друге. Они отражаются в Боге. А Небесный Огонь отражает их.

Люди прыгали, пели и кричали, а Вера медленно опускалась перед ними на колени.

Она всё так же высоко держала руку с огнём. Не опускала.

\* \* \*

**И** вот однажды с матерью Верой произошёл случай, который, если бы с кем-то другим произошёл, а не с нею, уже при жизни ставшей святой, и не был бы чем-то таким из ряда вон выходящим. А тут вышло так, что вмиг порушилось у Веры в жизни всё, возведённое с таким трудом и старанием. Бог часто даёт нам понять: не всё, что разрушает, плохое; и не всё, что разрушено, должно было сохраниться и жить.

Мать Вера стояла на молитве, когда к ней подошла сестра Васса. Васса старилась на глазах, из-под камилавки высунулись, прилипли ко лбу седые пряди.

Васса молилась вместе с Верой.

Потом, когда Вера и Васса положили все земные поклоны, Васса обернула к Вере лицо.

— Мать Вера, — дотронулась до её локтя сестра Васса, — там к тебе... из России... женщина какая-то. Очень представительная. Одета так богато. Шуба у ней... из белых мехов... ну, сама увидишь... Ступай. Прими.

Вера прижала ладони к щекам. Так постояла немного, перевела после молитвы дух и, едва за-

метно хромая, пошла к дому, где жили монахини. День стоял солнечный, но холодный. Дул резкий северный ветер. Перед дверью в дом стояла высокая разряженная дама. Атласное платье мело монастырскую мостовую. На плечах дамы сиял в лучах солнца палантин из серебристых норок. Мех несчастных зверьков невыносимо искрился, резал глаза. Или это так сильно сверкало колье в меховом распахе, на груди у женщины? В теле, пышная, грудь высоко подымается, дышит часто и тяжело. Мать Вера заглянула в её глаза и чуть не отшатнулась. В глазах роскошной дамы застыл чёрный ужас.

— Здравствуйте, — спокойно поклонилась Вера, — Господь с вами! Издалека к нам! Чаем вас напоили? Накормили?

— Да ну его, чай! — Голос у дамы оказался внезапно звучным, заполнил собой всё солнечное пространство, и, казалось, голос этот слышали даже звонари на колокольне. — И к чему еда! Это всё чепуха! Главное, я до вас добралась. Вы мне важнее всего! Я к вам — всю жизнь добиралась! И вот, получилось!

От голоса царственной дамы звенело и дрожало всё вокруг. Ветви деревьев бились. Камни трескались. Вере почудилось — от вибрации голоса у её ног вспыхнул пламенем пук сухой травы.

— Какой голос у вас...

— Я певица! — сказала дама и улыбнулась. Улыбка у неё была вымученная, страдальческая; она будто плакала и так гримасничала. Жирно, щедро крашенные губы змеино кривились.

— Понятно...

— Ничего вам не понятно!

— Вы в опере поёте? — Вера почтительно наклонила голову в чёрном клобуке.

— На эстраде! — вскинула голову дама.

Тяжёлый пучок смоляных волос оттягивал ей высокую полную шею. Шею обхватывала нитка крупного жемчуга. Вера глядела на жемчужный тусклый перламутр и думала: «Какая красавица, эстрадная певица, и любит её народ, слушает».

— Может быть, я о вас знаю. Как вас зовут?

— Зиновия.

— Это эстрадный псевдоним?

— Это моё имя, данное мне при рождении, увы!

— Почему увы? — Вера улыбнулась. — Очень хорошее имя. Оно означает знаете что? Богоугод-

ную жизнь ведущая. Вот вы... вы... вы ведёте богоугодную жизнь?

Покосилась на её белый норковый палантин.

— Я? — Певица хмыкнула. — Богоугодную?! Да я именно за богоугодной жизнью сюда приехала! Знали бы вы, какую я жизнь... — не могла договорить. — Веду...

Вера тихонько взяла певицу за руку.

— Идёмте ко мне в келью. Вы мне всё расскажете.

\* \* \*

Сестра Васса вскипятила им чаю. Они обе сидели на низких табуретах у стола. Стоял Великий пост, и в вазе посреди стола лежали ржаные сухари — угощение к чаю. Васса выставила лимонное варенье в большой розетке. Певица беззастенчиво запустила чайную ложку в розетку, ела варенье из розетки, облизывалась, нахваливала. Она и правда была очень голодна. Варенье исчезло. Зиновия налила в розетку чаю, размешала в нём остатки варенья и выпила этот лимонный морс.

— Ох, — перевела дух, — спасибо...

— Сестра Васса, а нет ли у нас чего посушественней?

— Рыбу нельзя, — загибала пальцы Васса, — блины на яйцах нельзя, сметану ни-ни, сдобные ватрушки нельзя, сыр нельзя, икру нельзя, мясо...

— Не о мясе речь, — поморщилась Вера, — ну, хоть постной лепешечки... той, что печёт мать Ульяна! Нигде не завалилась? И картошечки к ней горячей, и грибов, тех, что из Кесарии привезли. Так! Вижу! Грибы в целости. Открывай, сестра, банку!

— О-о, — вскрикивала певица, делая отрицающий жест белой пухлой рукой, — не надо, ну что вы, зачем так хлопотать из-за меня!

— А вы не поститесь? Простите, я не спросила. Или поститесь всё же?

— Мне священник сказал, — покраснела до корней волос певица, — что у меня работа тяжёлая... и я должна всё время восполнять потерю энергии... Я же пою, пою... дни напролёт на сцене... а то и ночи, знаете, на корпоративах...

— На чём, на чём? — Пришёл Верин черед краснеть.

— А это, знаете, такие закрытые концерты...

Ну, в фирмах во всяких... Приглашают... дорого платят...

Сестра Васса, повздыхав, вытащила из скрипучей тумбочки бутылку тель-авивского тёмного коньяка и маленькую, с напёрсток, хрустальную рюмочку.

После горячей варёной картошки с солёными грибами и трёх чашек чаю с лимонным вареньем, а потом — с абрикосовым, певица разрумянилась, как расписная матрёшка. Алые щеки её залоснились, заблестели, словно намазанные кремом. Она подолом атласного платья вытерла пот со лба. Вера уснула Вассу безмолвным кивком. Васса, подобрав рясу, выкатилась за дверь. Вера украдкой поглядела на часы. В их распоряжении было полтора часа, от силы два — до начала вечерни.

— Ну, рассказывайте...

Вера не впервые принимала исповедь.

Зиновия глубоко вдохнула, её ребра расширились, бока выпятились под шёлковым платьем, вся она стала похожа на обтянутый шёлком бочонок. Потом выдохнула. И внезапно стала маленькой, мелкой, — жалкой. Будто воздух весь из неё вышел, навек.

Она заговорила так тихо, что Вера не слышала первых слов.

— ...Хороший муж. Правда, он младше меня на десять лет!.. Но это же ничего, есть и больше разница, а какая разница?.. Лишь бы вдвоём было хорошо, ведь да?.. И жили мы хорошо. Не пожалуюсь. Отдыхать на море летали, в Турцию, в Таиланд. На остров Бали летали! В океане купались... Сына родили. — Певица судорожно сглотнула. — Сына... Такого славного...

Прижала себе ладонь ко рту. Так сидела. Молчала.

Вера не торопила её.

— И что же? Да самое то... самое оно... изменил он мне. С молоденькой! С совсем сикухой. Со шмакодявкой такой... Ой, простите, я ругаюсь... Но я не могу... Вы бы её видели! Килька обглоданная, хамса! Выдерга! И что он в ней нашёл! По сравнению со мной... — Певица обвела себя руками, выхваляясь статью. — Ну и... охотула она его... по полной программе... И он из дома ушёл. Уехал! С одним чемоданчиком. Сын так плакал! В голос ревел! Сын... А я... сначала в отместку хотела... любовников заводила... всяких... с кем

только я не... Простите... Я знаю, в монастыре такие речи... Но это чтобы вы знали, видели, что я такая жуткая, ужасная... что я — просто дрянь... дрянь! Настоящая! И мне грош цена! А все вокруг кричат: божественная!.. великолепная!.. и всё такое прочее. У меня эти крики вот уже где!

Резанула себя рукой по глотке. Вера поймала её руку на лету.

— Никогда так не показывайте. То, что вы на себе показали, запомнит диавол. И сделает с вами точно так.

— Дьявол! — выкрикнула певица. Её щеки уже пылали малиново, страшно. Пот тёк по вискам. — Да что вы тут понимаете в дьяволе! — Она была как пьяная, хоть не выпила ни капли из мирно стоявшей на столе бутылки. — Дьявол не где-то там за углом! Дьявол — он вот, вот... вот он где... — Постучала себя кулаком по груди. — И делает он с нами что хочет... уж поверьте мне. И, может, он-то как раз и послал мне другого человека!

— Другого?..

— Да! Другого! Прекрасного! Превосходного! Вдвое меня старше! Благородного, как я не знаю кого! И человек этот меня полюбил, как я не знаю кого! А человек этот женат! И жена у него не выдержала! Нет! Жена у него — первый сорт! А может, и высший! Лучше меня в сто, в тыщу раз! Красотка, умнюшая, добрейшая, добрее добрых... нежная, заботливая, так движется — сама грация... Прямо как Богородица с иконы сошла и ожила — вот какая... И дети у них! Целых трое! Девочки! Ангелочки! Вера — Надежда — Любовь! Кроме шуток! А тут я. И мужик этот как спятил на мне! Всё, кричит, всех от себя отсеку, всех выгоню, ото всех убегу, а с тобой буду! Только с тобой!

Вера опустила голову и не смотрела на певицу. Она смотрела себе в колени: там лежали её руки, утруждённые, с плоскими, как деревянными ладонями, с шершавою тыльной стороной, рабочие, сильные, усталые, — недвижимые.

— А сын мой плачет. Кричит: мама, мама, где папа, я так люблю папу! Где он, вернись к нему! Или пусть он вернётся к нам! Сделай так, чтобы он вернулся! Найди его! Или я из дома уйду и сам его найду! Давай ищи! Так кричит день за днём. И я не выдержала. Я ему взяла да и крикнула в ответ: нет! Никогда я не буду твоего отца искать! И не нужен он мне! Он меня обманул! Он предал меня! А значит, и тебя! Он для меня

— не существует! И для тебя уже не существует! Нет его, нет, понимаешь, нет!.. Я так кричала сыну... моему сыну... сыну...

Зиновия опять заклеила рот рукой. Вера терпеливо ждала.

— И вот когда я крикнула в лицо моему мальчику: нет! никогда! — он пошёл и... и... — Вера уже поняла, что случилось. Она подняла свою тяжёлую тёплую руку и положила её на колено певицы. — И утопился... в реке...

— Царствие Небесное, — еле слышно сказала Вера и перекрестилась.

Певица так и вскинулась.

— Царствие Небесное — самоубийце?! — Глаза её бешенством горели. — Царствие, бормочете?! Небесное?! Да, может быть, он и правда на небесах сейчас! А в церкви же нельзя молиться за самоубийц! Нельзя им — панихиду служить! Вообще, преступники они! И на кладбище их не хоронят! А я кладбищенскому сторожу заплатила чёрт знает сколько денег... чтобы он позволил мне моего сыночка в ограде кладбища похоронить, а не за оградой! Все карманы вывернула! Все кошельки на снег перед ним побросала! Позволил! Позволил...

Солнце клонилось к закату. По стенам кельи ходили красные пятна печального вечернего света.

— Если бы вы видели, какой мальчик мой был, когда его вынули из воды! Синий... распухший... Нет, я не могла посмотреть ему в лицо! Я смотрела вокруг лица. Около. В само лицо — не могла. Это был не он. А правда! Может, это был не он... не Тимочка мой! Может, все они ошиблись!.. Но батюшка в церкви... Вот он — не клонул на деньги... Он — оттолкнул мою руку... Он сказал печально так: ваш сын сам выбрал наложить на себя руки, и он сам убил свою душу живую, и это даже не самоубийство, это — убийство... А я кричала: да он же ребёнок, ребёнок же он ещё!.. А батюшка мне: да ведь не несмышлёныш же, уж отрок, двенадцать лет... Ему было всего двенадцать лет... Почему батюшка отказал мне в отпевании?! Почему он такой жестокий?! Может, он — от дьявола, а не от Бога?! А ещё в церкви стоит, среди икон... Я так орала в церкви... что меня вывели под руки и еле усадили в машину... А потом, когда меня привезли домой, я и осознала: это я... я сама погубила моего сына... Я, я одна...

— Взыщи, Господи, погибшую душу раба Твоего Тимофея: аще возможно есть, помилуй. Неисследимы судьбы Твои. Не постави мне в грех молитвы сей моею, но да будет святая воля Твоя, — прошептала мать Вера и медленно перекрестилась.

— И вот... И вот... — Пот густо тёк по красному, как из бани, лицу певицы. — Я решила, что сейчас мне уже можно всё... И я... я увела моего того хорошего человека из семьи... Увела!.. Но он не женился на мне. Мы поехали по курортам... Он снял нам шикарное жильё... Мы там просто бесились на кровати... спали где угодно, когда угодно... Мы просто ели... съедали друг друга, мы друг для друга были самой шикарной жратвой... И я... я видела это, чувствовала, что я для него — не человек уже, нет... а жратва... и он для меня тоже... И он вернулся к жене. Но всё уж было открыто! Всё было наружу, наизнанку — все наши потроха! И он сказал жене: я буду с тобой, но и с ней тоже! И началась моя ужасная жизнь. Мать Вера! Да! Ужасная!

Она в первый раз назвала Веру — «мать Вера». И Вера вздрогнула.

— В чём был этот ужас?

— Он... утопил меня. Теперь — меня!.. Я утопила...

— В чём? Где?

— В ужасе мира, мать Вера!

Вера глядела молча. Она решила ничего не спрашивать.

— В политике, будь она проклята! В вооружении, да, в горах оружия! В близкой войне! Вернее, в защите от неё, от её призрака, он так думал, что он нас — от этого безглазого призрака — защищает! Он у меня был — политик. Был, почему был... Да он и есть! Такой, знаете, знаменитый. На весь мир гремит! Погремушка чёртова! Я стала летать с ним на всякие его саммиты. На всякие симпозиумы, встречи эти отвратные! В зале сидела и наблюдала, как он договоры заключает! Или как на трибуну выходит, к микрофону рот приближает... и говорит. Говорит, говорит!.. Говорит... Он говорит... а я не слышу его. Только кровь в висках бьётся: бум! бум! бум! — страшно так. Голова вот-вот взорвётся. И земля вместе со мной. Так все страшно, и мой человек, знаменитый, умный очень, — такой умный, что страшно, — говорит об очень, очень страшных вещах. Так,

что ты не хочешь, а понимаешь: нам скоро всем хана. Ой, простите! Здесь нельзя так выражаться. Я — нечестивая!

Зиновия закрыла себе рот рукой и даже во зле и досаде на саму себя куснула ладонь.

— Окунулась я в крошечный ужас. Поняла одно: человечество идёт к самоубийству. Мальчик мой убил себя. Жить не захотел. Это что! Это — может быть, и хорошо... что он — раньше всеобщего ужаса — с жизнью расстался... А люди! Все, кто на земле живёт!.. Мы же все как спятили! Семимильными шагами — к смерти идём. Бежим! Задыхаемся! Опоздать боимся! Слушаю моего любимого и понимаю: скоро — не успею оглянуться! — грянет великое сражение. И все погибнут! Все хотят войны! Изголодались по ней, что ли? Не могут без неё?! Так и тянутся к ней. Как к мамке родной! «Да ведь она же смерть!» — хотелось заорать мне на весь зал этого саммита какого-нибудь жуткого, где вроде бы люди в зале восседают, а мне кажется — черти! Рожи у них такие... чертявые. И — рога над теменем, и пяточки свинячьи! Вот-вот захрюкают, все дружно и помчатся к гибели, к краю пропасти! И все туда скопом рухнут, визжа. И вот всё думаю: так зачем же тогда Бог? Ох! Где же тут Бог-то, в нашей жизни? Маленькая она, крошечная! Не успеешь родиться и завопить: «Уа-а-а-а!» — как надо руки складывать на груди и в гроб ложиться. Вам легче, святым! Вы святые. Вы — помолитесь, у вас и душа чиста, и летит она, как птица. А у меня — только на моих концертах летит. Когда я на сцене стою, работаю. Тогда я всё забываю. И сына на берегу... на песке... с распухшим лицом. И любовные подлые крики мои в чужих постелях! И человека моего этого... блестящего, знаменитого! Ну да, нас с ним папарацци тыщу раз уже подловили. И меня с ним рядом — тыщу раз засняли! Только мне от этого ни жарко ни холодно! Печатайте фотографии наши, дурацкие таблоиды! Я уже и с журналистами судилась. И выигрывала процессы! Да потому что меня люди любят! А они... кто такие?!

— Они тоже люди, — тихо сказала Вера.

— Люди! Это — нелюди! Они плохие. Подлые! Мне говорят: молитесь за врагов ваших! Знаю я все эти поучения. Я — не могу за них молиться! Враг — это враг!

— Зачем вы приехали сюда? Ко мне?

Верин голос шелестел тише шуршанья салфетки.

Зиновия вытерла мокрое лицо ладонями.

— Я приехала сюда, чтобы... здесь поселиться! Уйти в монастырь. Я выбрала — к вам! Мне рассказали о вас. Я поняла: вот — святая!

— Я не святая, — шептала Вера.

— Не спорьте! Вы — святая! К вам — полмира идёт! Я хочу уйти к вам! Сюда! От мира. В нём одни страдания. Возьмите меня! Иначе руки на себя наложу.

Вера выслушала эти слова и встала из-за стола.

— Спойте мне.

— Что-о-о-о?!

— Спойте мне, — твёрдо, приказом, а не просьбой сказала Вера.

Зиновия тоже встала. Две женщины стояли рядом. Обе высокого роста, у Веры более широкие и угловатые твёрдые плечи. Певица поражала княжьей роскошью холёного сдобного тела. меховой палантин сполз с плеч на пол. Она переступила через него, через мёртвого зверя. Шёлк платья заискрился, водяно, речно переливался в тусклом ягодном свете лампад. Солнце уже закатилось, окна густо синели, Вера не пошла ни на какую вечернюю Литургию, и это был грех, она ещё не успела осознать его. Певица вдохнула воздух глубоко и судорожно, как будто её, утопленницу, вытащили из тёмной глубины. И запела — так полнокровно, ясно, ярко и нежно, что Вера вся покрылась гусиной кожей, словно голая вышла из воды на широкий холодный ветер восторга.

— Спи-усни... Спи-усни... Гаснут в небесах огни... Спи... От сена запах пряный, в яслях дух стоит медвяный, вол ушами поведёт... коза травку пожует... В небе синяя звезда так красива, молода... Не состарится вовек... Снег идёт, пушистый снег... Все поля-то замело — а в яслях у нас тепло... Подарил заморский царь тебе яшму и янтарь, сладкий рыжий апельсин, златокованный кувшин...

Затаив дыхание, Вера слушала; она понимала, что Зиновия поёт колыбельную.

Может, она сама её написала; скорей всего, было так. Она пела с закрытыми глазами. На её лицо взошла улыбка. Она и правда походила сейчас на икону Божией Матери Умиление — на любимую икону преподобного Серафима Саровского.

Вера любовалась ею. Раскрылись пространства и просторы, сместились густые и прозрачные слои воздуха. Перемешались тепло и мороз. Тихо шёл с небес снег, в яслях стояли коровы и козы, длинными сливовыми глазами глядели на Того, Кто родился. Мать держала ребёнка на руках. Развернула пеленки. Любовно глядела на маленькое нежное тельце, ещё живое тело родного человека. Все — всем — так — не могут быть родные. А что есть чужой? Родной? Вот вырастет этот ребёнок. И скажет всем: вы все родные друг другу. Зачем Он это скажет? Ведь Его никто не услышит.

А услышат — потом.

Глаза матери сияли. Светились двумя ночными солнцами. Потом она запеленала младенца, прижала его к груди и закрыла глаза.

— Спи, сынок, спи-усни... Заметёт все наши дни... Будем мы с тобой ходить, шубы белычи носить, будем окуня ловить — во льду прорубь ломом бить... Будешь добрый и большой, с чистой, ясною душой... Буду на тебя глядеть, тихо плакать и стареть... Спи-спи... Спи, сынок... Путь заснеженный далёк... Спи-усни... Спи-усни... Мы с тобой сейчас одни... Мы с тобой одни навек... Спи... Снег...

Зиновия выдохнула последнее слово так нежно, будто ловила малую снежинку ладонью. Она и вправду протянула ладонь вперёд.

Синее вино вечера лилось в монастырское окно.

— Снег...

Зиновия сгребла в кулак на груди слепящее колье.

— А давайте вместе spoём, мать Вера?

Вера ничего не ответила. Певица вздохнула, и Вера тоже. Певица запела, и Вера вместе с ней.

— Чёрный во-о-орон... что ж ты вьёшься-а-а-а... над моею головой!.. Ты добычи не добыешься... чёрный во-о-о-орон... я не тво-о-о-ой!

Они вместе пели в келье русские песни, и Вера плакала, не замечая, что плачет.

А за дверью кельи стояла сестра Васса, закрыв лицо ладонями.

\* \* \*

Зиновию взяли в монастырь трудницей. Мать-игуменья давала ей разнообразные

послушания, и певица не гнушалась никакой работой. Сажать лук и морковь, полоть, варить на кухне в огромном котле постные щи, солить рыбу, мыть кельи, подметать каменные плиты храмов, шить, штопать — Зиновия всё умела, всякое дело горело у неё в руках. А на клиросе её голос летел надо всеми, ярче и звонче всех прорезал солнечную пустоту. Регентша сделала ей замечание: «Вы слишком громко поёте, сестра Зиновия, а надо бы себя смирить, смирить гордыню. Пойте не соло, а в хоре! Под других подлаживайтесь! Не выпячивайтесь!» Зиновия усмехнулась: «Хорошо. Выпячиваться не буду больше».

Голос её угас, и скучно стало, печально и темно. Сёстры попросили регентшу: «А вы сестре Зиновии — соло поручайте!» В литургиях Чеснокова и Шведова она пела партии сопрано. Радость звенела снова. Зиновия пела как ангел. Сёстры и матушки плакали, крестясь, зачарованно слушая залетного ангела. Мать Вера стояла всю службу, прямо держа тощую спину. Сутулость ей была неведома. Никто из монахинь не знал, сколько ей лет.

Однажды Вера, преодолев себя, мучительно стесняясь и коря себя за это смущение, влезла на узкие скамьи клироса, чтобы петь в хоре вместе со всеми. Регентша окинула мать Веру строгим взглядом: «Кажется, у вас хорошее центральное меццо! Будете с сестрой Зиновией петь в «Страстях по Матфею!» Недавно в монастырь привезли ноты новомодной оратории, из самой Москвы. Отец Иларион музыку написал, на последние стихи Евангелия от Матфея. Монахини быстро разучили партии. Не хватало мужских голосов; собрали всех сестёр, кто мог брать низкие ноты, и вместо мужчин на клирос поставили. Хор укрупнился. Двух солистов все же пришлось пригласить — с Русского Подворья. Тенор пел, раскидывая руки, будто хотел всех обнять. Его розовое совсем детское лицо обнимала шёлковая русая борода. Баритон больше смахивал на бас-профундо: грузный, животастый, когда ноту низкую брал, весь гудел, как колокол.

Вера и Зиновия пели вместе, сливая голоса. Пели отдельно. Вера нотной грамоте не обучена была, запомнила мелодии с голоса, как ей регентша напела. Регентша отругала её: «Мать

Вера, надо бы уж к вашему возрасту знать ноты! Особенно если так поёте!» Вера смиренно возвела на регентшу большие на худом скуластом лице, скорбные византийские глаза: «Как?» — «А так! Сердце вынимаете, вот как!» Вера склонила голову и коснулась подбородком ключиц: «Сестра Гликерия, вы слишком добры ко мне».

Столичную музыку отца Илариона пели в первые недели Великого поста. Храм был наводнен монахинями во всем чёрном, великопостном. Сквозь скорбь летели золотые копы боли и любви. Зиновия пела, закрыв глаза. Вера пела и, чуть поворачивая голову, украдкой смотрела на Зиновию. В своем вдохновении Зиновия была прекрасна, лик её над ночной тьмой рясы светился ангельским светом. Она стояла на певчей скамье нереальная, будто не из плоти и крови соткана, а из облачных кружев. Обе женщины сливали голоса, и голоса эти текли, летели над скорбящими людьми, умирали и снова вспыхивали, оживали, давали живым надежду, убеждали: бессмертие есть, зря мы в него не верим.

После оратории монахини сидели в трапезной, прихлебывали обжигающий чай. Вера не могла даже чай пить. Над нею солнцем сиял голос Зиновии. Певица сидела тут же, рядом, на длинной, во всю длину стола, скамье; она двумя пальчиками и отставив мизинчик, как в старинные времена купчиха, брала из фруктошницы абрикос, разламывала его, вынимала коричневую, как коровий глаз, косточку и подносила солнечную ягоду ко рту. За время жизни в монастыре Зиновия заметно похудела; шикарный норковый палантин был запрятан в дальний угол шкафа в её келье.

— Спасибо тебе за музыку, сестра Зиновия, — сказала Вера.

— Почему ты ничего не ешь, мать Вера? — спросила Зиновия.

— Я не хочу. Я музыкой сыта.

Вера улыбнулась Зиновии и поймала в её глазах опасную вспышку.

— Мать Вера. Слушай! Нам надо поговорить.

Вера наклонила голову:

— Идём.

\* \* \*

*Она поёт. Она просто поёт.  
У неё сильный голос. Она певчий плот.  
Она певучий корабль. Она пьяный матрос.  
Она горит всеми красками радужных слёз.*

*Она только голос. Она только свет.  
Она тонкий волос и острый стилет.  
Она только небо — странно, оно звучит,  
И те, кто в нём не был, плачут навзрыд.*

*Она просто песня. И больше ничего.  
Она просто вестник. Питье и ество.  
Голос трепещет. Голос чудит.  
Голос, он вещий. Он глазами глядит.*

*Песня! Ты лейся. Песня, лети.  
...Кровью упейся, встань на пути,  
Встань на угли босою пятой  
Ты, убийца песни простой.*

*Это времен неуклонный ход.  
Это на колени встает народ.  
Это с колен встает народ.  
...Она поёт. Она просто поёт.*

\* \* \*

— Я не могу. Я больше не могу! Я хочу  
уйти на тот свет, Вера.

— Стой. Погоди. Ты не имеешь права так говорить. Побойся Бога!

— Да что мне Его бояться! Я теперь ничего не боюсь. Я готова Ему служить. Но только пока у меня есть силы жить. Вера! Они у меня заканчиваются. Вера! Я больше не могу жить. Я — хочу — уйти — за ним!

Вера ловила её летающие отчаянные руки. Слезы лились по лицу Зиновии ей на подбородок, за ворот, по груди, рясу ей солью вымачивали.

— Я тебя понимаю. Ты мать! И твоего ребёнка нет на свете. И ты хочешь к нему, туда. Но ты знаешь, где он теперь?

— Знаю! Всё вранье, что он грешник! Он — ангел! И он — среди ангелов, на небесах! И я уйду к нему! Небеса меня примут. — Она дрожала. — Ещё как примут! Я измучилась, Вера. Душа моя заржавела, почернела! Нет мне покоя! Я

молюсь, я его зову, покой, а он... смеется надо мной! И все люди надо мной смеются. Мне кажется, что они все знают обо мне! И в меня летят усмешки... ухмылки! Ещё немного — и плевки полетят! Я — презренная! Я — шваль. Я...

С губ Зиновии сорвалось скверное слово, она произнесла его беззвучно, но Вера прочитала его по губам.

— Тебя все любят в монастыре, Зиновия.

— Нет! Не все. Все — никогда не могут любить одного человека! Враги есть у всех. И ненавистники. И у меня тоже. Знаешь, когда я в миру жила, сколько у меня врагов было?! О, не счастье! Меня просто заклевали. И голос хриплый! И одеваюсь как ведьма! И дура-то, двух слов связать не умею! Сын ещё не родился — бесплодная, пустой кувшин, сухое дерево! Сын родился — а что только один, себя слишком любит, дети — обуза! Ты даже не представляешь, как меня убивали! А видишь, я жива!

— И будешь жить.

— Нет! Не буду! Устала!

Руки Зиновии враз обессилели, повисли вдоль тела. Она села на табурет и замолчала — крепко, надолго.

Вера хотела говорить. Но тоже молчала. А что тут скажешь? Все и так понятно. Человек устал жить. Душа устала. Хочет вон из тела, на волю.

— Ты права не имеешь, — прошептала Вера.

— Жизнь дал Бог, Он у тебя её и отнимет.

— Я — Ему — помогу!

Вера молчала. Теребила концы угольно-чёрного апостольника.

— Повторяй за мной, Зиновия. Боже, очисти мя грешную, яко николиже сотворих благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя... да неосужденно отверзу уста моя недостойная... и восхваляю имя Твое святое, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Она искоса, из-под надвинутого на лоб апостольника, взглянула на Зиновию. Поразила земляной черноте её лица. Будто бы уже из гроба своего смотрела на неё Зиновия, и губы певицы искривились в усмешке — позорной, презрительной, над самую собой.

— Ты думаешь, это мне поможет?

— Зачем же ты... тогда... — Вера искала глазами её глаза, — здесь?

— Я думала спастись. Правда. Не веришь?

— Верю.

— А теперь я не верю. Я себя убью!

Вера встала на колени и стала молиться, не глядя на Зиновию.

Зиновия будто вспыхнула огнём. Сорвала с себя платок. Волосы её разметались. Глаза горели темно, светло. Она шагнула к Вере и схватила её за руку. За правую, коей Вера крестилась.

— Уйдём отсюда! Вместе уйдём! В мир! Ну его, монастырь этот твой, мертвечина тут! Поёшь ты хорошо! Будем петь вместе! Нам ещё повезет! Бросай всё мёртвое! Живи! Лови счастье! Лови жизнь! Ртом лови, ноздрями, животом — всем! Это же чудо — жизнь! Жаль только, такая коротенькая!

Вера, стоя на коленях, глядела на Зиновию снизу вверх.

Ей казалось: волосы Зиновии шевелятся, как щупальца чёрного осьминога.

— Ты так поёшь, Вера... За сердце твой голос хватает... Я рядом с тобой — ноль, зеро... Сбежим! Уедем! Ты увидишь Россию! Ты тут — высохла без неё! Ну! Решайся! В воздухе-то война висит! Ветер войной пахнет! Хоть перед гибелью общей — Родину увидишь! Ну! Ну скажи хоть слово, ты, умоленная! Да, ты святая! А я — грешница, пробы на мне негде ставить! И ничего у меня не получилось с твоим монастырём! Ну, не молчи же, ну!..

Вера, не вставая с колен, тихо сказала:

— Я поеду с тобой. Но не из-за себя. А из-за тебя. Потому что ты страдаешь. Чтобы ты руки на себя не наложила. А то на моей душе грех твой будет. Я тебя спасу. Я буду с тобой, сколько понадобится.

И при этих словах встала с холодного пола кельи так легко, будто ветер её, высохшую былинку, поднял и понёс над землей.

\* \* \*

Вера прекрасно понимала: она берёт на душу тягчайший грех. Оставляет насельниц, бросает дело своей светлой святости. Покидает ту жизнь, которая стала ей смыслом последним. И бежит. Куда? В полную неизвестность. Во тьму.

«Значит, так надо. Мне Господь так велит. Я должна чужую, живую душу спасти. Нет чужих душ. Все — Боговы. И меня Он избрал, чтобы я —

её — спасла и сохранила. Для Тебя, Господи».

У неё не было времени даже помолиться. Зиновия вся тряслась, страшно боялась, что Вера передумает. Вместо чемоданов в путь были собраны котомки: так легче было обмануть бдительность сестёр, сделать вид, что в город пошли, в мир, в шумный Иерусалим — на рынок, овощи к трапезе прикупить или милостыню бедным раздавать, или птиц кормить. Вера толкала тряпки в котомку и вспоминала свой ранец. Где он сейчас? А может, взять его — всё больше в него тряпья и провизии влезет? Еле нашла ранец — на антресолях, среди старых плоских, как лодки, ящиков, они горько пахли скипидаром, в них когда-то в монастырь привезли иконы кисти новых молодых богомазов из монастыря святой Екатерины, что в Египте, на горе Синай. Утолкала в ранец котомку. Сидела на краю койки, положив локти на расставленные широко, под рясой, колени, и только всё повторяла шёпотом: «Прости, Господи, прости, Господи».

Вспомнила, как ушла из дома. Где-то далеко, на дне ранца, паспорт, вернули монахины, и ключ от её красноярской квартиры. От прежней жизни. Она так сильно захотела опять увидеть Сибирь и Енисей, что у неё глотку перехватило и какое-то время она не могла дышать. Потом раздышалась. Увидеть Енисей! И как он курится, могучий, бешеный и зелёный, как брюхо безумной стрекозы, посреди января. Этот снег, снег. Мощные эти снега, синюю арабскую ли, славянскую ли вязь куржака — и густо, щёткой, свисает он со стрех и с ночных проводов; тоска, зима, и щёки людей красны, и она идёт по зиме, а валенки по снегу хрустят, и по радио передали: сегодня утром мороз минус сорок семь, и водителей предупредили, чтобы далеко по трассе не заезжали и по просёлочным дорогам не мотались — если мотор заглохнет, замёрзнут в два счёта, через полчаса — через час. Мир снега! Мир — снегу! Сибирь снежная и нежная, и злая, а рядом горы Саяны медвежьи спины горбят, топорщится зелёная колючая таёжная шерсть, на морозе ветви лязгают звонче железа, и звёзды в полночь, осыпаясь с зенита в сугробы, железными армейскими пуговицами, кровавыми орденами звенят. Господи! Сибирь! Неужели она перед смертью ещё раз увидит тебя!

Перед какую смертью? Вера забыла, сколько времени живет на земле, а тут вдруг сила жизни накатила и закрутила, вспыхнула внутри северным сиянием, поборолась, смолела, — и искрами, горящей половой стала бедная плоть, и разлеталась по ветру памяти, а память, как назло, самые лакомые кусочки подсовывала. Смерть, где твоё жало? Ад, где твоя победа? Есть только Бог! И только родина. Она — в памяти! А память не выбьешь из неё никакой пыткой. Не выжжешь. Она любит родину! И любила всегда. А Иерусалим? Это тоже родина — её духа. «Как же это у Господа сказано в Писании? «Не скрывайте себе сокровищ на земли, идеже червь и тля тлит, и идеже татие подкопывают и крадут: скрывайте же себе сокровище на небеси, идеже ни червь, ни тля тлит, и идеже татие не подкопывают, не крадут: идеже бо есть сокровище ваше, ту будет и сердце ваше». А где же сокровище моё, Господи? Ответь! Я думала, вот тут, в Иерусалиме, в этом монастыре дивном, он же мой дом стал, и полюбила я его как дом родной. И вот в дорогу я собираюсь опять. Значит ли это, Господи, что суждена мне в жизни дорога? И что на той дороге ждет меня? Не знаю ничего про будущее, как любой человек. Но пускаюсь в путь, потому что рядом со мной человек живой так страдает, что с жизнью расстаться хочет. А чтобы не расстаться, меня с собою в дорогу зовёт. Значит, всё правильно, Господи, у Тебя! Смиренно принимаю волю Твою».

Синяя Сибирь горела и переливалась перед нею, как внутренность перловицы, мохнатым куржаком и морозными хвощами на стеклах окон магазинов, бань, школ, пельменных, пивных, кинотеатров, тюрем, каменных домов и чернобрёвенных приземистых изб; она вспыхивала слепящими перекатами и смертными порогами Енисея, он рассыпал перед ней, нишей, все свои изумруды и бериллы, Сибирь роскошно играла всеми хвойными гранями, всеми живыми шкурами живых соболей и ондатр, хорьков и горностаев; она глядела на Веру глазами людей и зверей, глазами рек и озёр, ледоставами и сумасшедшими ледоходами, когда шум расколотого льда гудом и гулом отдается в голове, и огнём весны густо и страшно занимается голая душа; и такую тоску по Сибири, по родине, ощутила она, что не могла сдержать длинного

стона — и повалилась на пол перед ранцем, и обняла ранец, как дитя, как девчонка, только прибежала из школы, а рыдает, потому что двойку заработала, двойку за поведение, и никто эту оценку не исправит, никто, никогда. И мать не накажет; мать давно умерла.

Она до боли в сердце захотела увидеть могилу матери. Как там покинутая могила? Кто ухаживает за ней? Да никто. Человек ложится в землю, и память о нём стирает с земли сырой порывистый ветер. Ветер наносит метель, снег летит вперед, под напором ветра и снега закрываешь глаза и глядишь внутрь себя. А там, внутри, — только боль. Оттого, что уже ничего не поправить.

Могила тоже может стать сиротой, как живой человек.

...и стоит в снегах, и лежит у земли на руках...

...и плачет... под солнцем горячим...

...и раскинуты руки креста... внизу — пустота...  
вверху — пустота...

И могилу Анны Власьевны захотела она увидеть. Той женщины, подруги, кружевницы, что ушла под нежный перестук коклюшек и завещала ей прийти сюда и стать той, кем она стала. А может, Анна Власьева была прозорливой старухой? И видела будущее? Господи, как люди могут видеть будущее? Ведь будущее — это тайна. Разве возможно ножом любой мысли раздвинуть, разъять время? Господи, ведь и старушка Расстегай, наверное, уже умерла. Царствие Небесное обеим — кружевнице и Расстегай.

«Я приду на кладбище, пусть метёт моя метель, я встану на колени перед одной могилой, спящей сиротой, перед другой встану и помолюсь. Главное — за душу молиться. За живую. И за ту, которая к Богу ушла. Люди смеются над молитвой. Люди есть такие, что готовы молитву растоптать. Но лишь она человека от смерти спасает».

Они собирались молча, спешно, стояла глубокая ночь, небо вызвездило, и поднялся ветер; ветер резкий, холодный, он гудел и свистел над Святой Землей, говоря о том, что природа может страдать и гневаться, и кричать, как человек. Вера и Зиновия взвалили на плечи поклажу: Вера — ранец, Зиновия — котёму. Переглянулись. Надлежало переступить порог. Это было самое страшное.

Вера земно поклонилась всему, что было тут много лет её жизнью.

— Господи... спаси и сохрани... всех, всех спаси и сохрани...

Она даже не могла как надо, по правилу, благословить молитвой остающихся.

Зиновия затравленно, волчком, оглядывалась. Обе женщины стояли в келье Зиновии. Сестра Васса спала, через тонкую стену, нежнейшим, спокойным сном — до будильника к полунощнице. Зиновия воззрилась на Веру, губы её запырпали. Вера видела: она испугалась того, что делала. Но было уже поздно.

— Ещё не поздно остаться, — вымолвила Вера, не веря себе.

Зиновия помотала головой: нет!

Обе вышли вон. Сначала — Зиновия, вслед за ней — Вера, поправляя ремень ранца: он давил плечо. Её родимое Евангелие лежало на дне ранца, как и много лет назад.

\* \* \*

Зиновия сказала: поедem самым ранним автобусом в Тель-Авив, оттуда улетим. Вера спросила: почему из Тель-Авива лететь, ведь можно из Иерусалима? Зиновия ответила: здесь нас могут догнать. Нам не надо погони. Вера спросила: откуда у тебя деньги на билеты? Зиновия улыбнулась: мне мой мужчина на карту перевёл.

И Вера больше ни о чём Зиновию не спрашивала.

Они поймали машину, шофёр довёз их до Яффы-Роуд, Зиновия взяла два билета до Тель-Авива. Внутри автовокзала было светло, блестяще и холодно. Зиновия купила им по шакшуке, в обеих руках несла по сковородке, взбитые яйца с помидорами и перцем шипели в кипящем масле. Вера отшатнулась: «Я не буду! Сейчас Великий пост!» — на что Зиновия пожала плечами и прикрикнула: всё, закончились твои монастырские правила, теперь мир — теперь будут мои! Вера взяла за ручку горячую сковороду и стала есть шакшуку, обжигаясь, изо всех сил дуя на неё. Зиновия смеялась и тоже ела. Потом обе выпили по чашке зелёного чая, такого же горячего. «Я весь рот обожгла», — пожаловалась Вера, как ребёнок. Зиновия взяла Веру за подбородок, немного подержала: «Обожгла? Это ничего. До свадьбы за-

живёт!» Лицо Веры под апостольником превратилось в помидор.

Объявили автобус на Тель-Авив. Обе поднялись с холодного сиденья. Их обдувал игрушечный сквозняк кондиционера. Слегка трепал их рысы.

— Нам нужна цивильная одежда, — прищурившись, сказала Зиновия, оглядывая Веру.

— Нет, не нужна, — сказала Вера.

— Что ты со мной споришь? Вот так нас точно сразу вычислят. И в Тель-Авиве нас уже будут ждть с собаками. Мать Мисаила даром что старая, а не дремлет. Васса проснётся — всё поймёт и сразу донесёт.

— Нет, — ещё твёрже сказала Вера, — я ни во что другое не оденусь. Это моя одежда на веки веков, аминь.

— Ну и... сумасшедшая!

— Уж какая есть.

Вере совсем не хотелось ни шутить, ни препираться. Зиновия забежала в вокзальный бутик и быстренько купила там длинное цветастое платье и туфли на высоких каблуках; потом зашла в туалет и переоделась. Вернувшись, затолкала в котомку рясу и вытащила норковый палантин. Встряхнула. Накинула себе на плечи. Серебристый мех вспыхнул забытой роскошью. Повернулась перед Верой и прижала ладонь к бедру.

— Ну? Как я тебе?

— Долежался, — сухо сказала Вера, кивком указывая на мех.

— Ну да!

— Хоть сейчас на сцену, — так же холодно сказала Вера.

Она попыталась улыбнуться, не вышло.

Они вышли из вокзала, тёплый ветер ударил им в грудь, потом в спину. Перед ними стоял автобус, и Вера задрала голову, таким он гляделся громадным, как айсберг. И под солнцем сверкал ледяно. Женщины забрались в автобус, уселись. Переглянулись.

— Ты хоть осознаешь, что мы сейчас поедem? Уедem...

— Куда? — беззвучно спросила Вера.

Зиновия угадала по губам.

— Из Иерусалима вон!

— Куда? — повторила Вера.

— В Россию, Господи, куда же ещё! В Россию! Вера закрыла глаза. Перед ней северным осле-

пительным сияньем восстали до неба светлые столбы всей её монастырской жизни: службы, свечи, исповеди, трапезы, слёзы и радость людей, что к ней приходили, рекой текли и текли. Люди, люди, они светились, вставали вокруг Веры бесплотными ангелами. Шевелилось на небесном ветру тончайшее покрывало, сотканное из чужих душ; все эти души за все эти годы стали Вере родными. Каждый человек, кого она благословляла или к кому просто прикасалась ладонью, сохранялся в памяти её — так же, как она его благословеньем своим сохраняла в памяти Божией. Люди! Они шли и шли, всё шли и шли, и всё к ней, слух о том, что вот в Иерусалиме, в Горненском женском монастыре, проживает сейчас новая святая, да, настоящая святая, как в стародавние времена, разнесся сначала по округе, потом по всему Иерусалиму, потом по всей Святой Земле, потом по другим странам, потом по воздуху он полетел и по морю поплыл в другие далёкие земли, потом докатился до России; и оттуда, с родины, полетели, поехали к Вере люди, они хотели успеть к ней прикоснуться, к краю её рясы, поцеловать её сухую и крепкую, уже стареющую руку, нет, руку без возраста, без времени, ибо времени для святой не было, а сияла вдали лишь счастливая вечность. Люди хотели, чтобы она дала им совет — и она давала. Люди хотели, чтобы она выслушала их, просто слушала молча, — и она молча слушала. Люди хотели просто поплакать перед ней — они плакали и молчали, и она вместе с ними плакала и молчала. Разговор Веры с людьми шёл порой безмолвно, слова не требовались. Слова казались лишними, и надо было, чтобы их развеял ветер или подмела с пола новая послушница, тихоня и скромница, длинным венником, связанным из сухих веток дикой акации. Люди и Вера пели незримым хором. Человек, которого она принимала в своей келье или в монастырском саду, на то время, пока она видела и слышала его, становился ей дитём, родителем, братом, сестрой, мужем, блудным и найденным сыном, умирающей бабкой с уходящими под лоб слепыми глазами, что горели ярче звезд, — становился её семьей, и росла её огромная, во весь мир, семья, и надо было ту семью обихаживать, любить, журить, наказывать, прощать, — спасать. Надо было эту семью на руках нести. И — спасти.

Это был её народ, что приходил к ней, её да-

лекий народ, и он был так близок, что превращался в неё самое.

Она всегда хотела всех спасти. А как иначе? Ты спасаешься сам, так поделись этим хлебом с другими! Умножь эти хлебы! Раздай голодным! Общее спасение — это и была та соборность, о которой ей твердила игуменья Мисаила, которой её учили старые схимницы в надвинутых на глаза клобуках. Все на земле отвечают за всех — кто это ей шепнул? Где она сама вычитала эти слова, в какой священной книге?

Да, она хотела всех спасти и не считала своё желание гордыней, и во имя этого трудилась и не уставала, и всех спасала — всем находила доброе слово, тепло и ласку, всем дарила себя, разламывала, как тёплый хлеб, щедро делилась: ешьте меня, пейте, это ведь тоже Причастие, каждодневная любовь! Она все повторяла эти слова Господа: «Больши сея любви никтоже имать, да кто душу свою положит за други своя». Любовь ко всем! Всеобщая мать!

Да, в монастыре Вера стала — такая вот Всеобщая Мать, и монахини втайне гордились, что именно их монастырь сподобился чести такой — приютить в своих стенах святую вселюбящую; а кто и ревновал, а кто и хмурился, горделиво и высоко оценивая себя: я бы лучше, святее была на её месте, — а кто и злился молчком, и тайком отмаливал грех злобы своей, ибо диавол опять рядом сидел, притаивался за аналоем, за храмовой росписью, за крашенным известью от жучков стволом яблони в светлом монастырском саду. Трудно было сохранить в неприкосновенности Божий мир. Он то и дело подвергался опасностям. Но люди всё притекали и притекали к Вере, и она всё удивлялась — как это матушка Мисаила при постриге оставила ей её мирское имя; права оказалась сестра Васса, не поднялась у игуменьи рука оторвать столь святое имя от будущей святой.

Куда же ты едешь теперь, святая?

Широкое сердце Веры здесь, в Иерусалиме, вмещало все просторы родной земли. Огромная далёкая Россия ложилась ей под ноги, под её сверкающую душу рекой без берегов, холодно-снежной, буйно цветущей, колочье-таёжной; густая страшная синева тундры переливалась ягодными и травными огнями, радугой полночного сияния — и вливалась во вспыхивающие се-

ребристым ковылём ковры степей, россыпи песков надвигались и пропадали, реки алмазно блестели великими льдами, взламывали лед по весне, разливались на полмира; и лодки, и корабли взрезали их железными ножами, и шли вперёд, всё вперёд и вперёд, потому что человек идёт только вперёд, и даже назад он идёт, как вперёд. Вера остро чувствовала и видела отсюда, из Святой Земли, просторы земли родной; и ей чудилось, её земля родит в недрах своих, среди мощных гор и рек своих такого человека, что спасёт мир на самом краю, у обрыва. У самой пропасти — всеобщую смерть остановит. Не прав несчастный возлюбленный Зиновии! Не погибнет земля. Она для этого слишком сильна, и она, планета, что катится в безднах, тепла, как человек, горяча внутри, и сердце в ней бьётся, и духа она полна: ибо она — Божия.

— Божия земля, Живая земля, — шептала Вера, глядя в запylённое автобусное окно, — спаси и сохрани...

Зиновия поправила сползающий с плеч норковый палантин. Лицо её румянилось возбуждением, восторгом бегства, предчувствием долгой опасной дороги.

— О чём ты?

Вера молилась:

— Спаси, Блаже, души наша...

Посмотрела на Зиновию долго-долго.

И Зиновия захотела укрыться от её всевидящих глаз.

— Господи, да будет воля Твоя.

Зиновия смущённо перекрестилась.

За спиной люди, смеясь, говорили на иврите. Вера за всё время жизни в Иерусалиме выучила на иврите всего несколько слов. Она помнила сказание о башне Вавилонской. Сколько языков на земле! А любовь — одна.

Молитва для неё, пока она жила в монастыре, была главным деянием. А теперь что? Что для неё теперь главное? Ведь она возвращается в мир.

«Боже мой, Вера, что же ты наделала».

Мир. Ведь его, белый Божий свет, зовут — Мир. Это недаром. Мир, это залог того, что он никогда не станет войной. Много людей про войну кричит! Кто-то к ней даже усиленно готовится, Вера понимала это. И будущее страдание, она тоже это понимала, ей одной было не отодвинуть. Не отмолить. Только вместе. С кем? Кто ей по-

может? Она посмотрела на Зиновию. Вот она? Разве она сможет помочь? Зиновия возвращается в Мир, чтобы вернуться к себе. Чтобы — петь. А Вера? Она же петь не умеет. Что она будет делать в Мире? Кого спасать? Зиновию? Одну её? Единственную?

— Единственную... — вылепили губы.

«Надо же кого-то единственного заиметь в жизни. И — спасти».

Всех людей — всех, кто в ней нуждался, кто к ней шёл — побоку, чтобы спасти — одного человека?

«Да. Так бывает».

Автобус мягко, так нежно тронулся с места, что Вера не заметила, как поехали.

Зиновия вынула из сумки косметичку, щёлкнула замком, вытащила круглое зеркальце, озорно, кокетничая сама с собой, смотрелась в него. Поправляла волосы над виском.

— Вера, неужели я вернусь на сцену! Я буду петь! Вера! Нет, я ещё не осознаю этого!

Она так радовалась, что Вера подумала — она сейчас вскочит с кресла и запоёт на весь автобус.

— Зина! Сиди спокойно.

Глаза Зиновии влажно блестели. Такой красивой Вера никогда не видела её.

Зиновия приблизила губы к щеке Веры и тихо спела ей прямо в ухо:

— Сиди спокойно, сиди молчи... Стучи, моё сердце, стучи, стучи... Гори, моё сердце, ярче свечи — в огромной, как мир, чёрной ночи... Тебя не излечат в ночи врачи, тебя не казнят в ночи палачи, с тобой только ночи чёрная кровь, с тобой только, сердце, твоя любовь!..

— Что это?

— Это моя песня. Я вчера её написала. Перед отъездом. Я буду её петь в Москве. На первом же концерте спою! Вот удивятся мои продюсеры, когда я перед ними появлюсь! Они-то, небось, думают, я умерла!

Автобус набирал ход. Вера не думала ни о чём мирском. Как, где они будут жить? На что кормиться? Может, не жить будут, а выживать? Певица будет петь, это понятно. А Вера что будет делать? Не было об этом ни мыслей, ни слов. Автобус катился всё быстрее. Ровный асфальт ложился под колёса, пассажиры-соседи включили музыкальную запись в гаджете, звуки наполнили салон, все заулыбались: музыка весёлая, плясо-

вая. За окнами мелькали ветви, камни, мотели, мосты, горы, пески. Святая Земля, ставшая Верой родной, провожала её.

«Я на время уезжаю. На время. Только на время. Я вернусь».

Она пыталась вспомнить, с каким чувством уезжала из Красноярска. Да, с точно таким же: думала, что доберётся до Иерусалима, выполнит завещание Анны Власьевны, погостит немного в чужих краях и вернётся.

«А теперь вот все эти люди, целый автобус всеёлой молодежи — да куда они все едут? А просто в Тель-Авив. Просто кто куда! Кто — в гости, кто — по делам, кто — на работу устраиваться. Кто — так же, как мы, в аэропорту поспешит, к самолёту. Лететь. Люди всё время куда-то летят. Небо, оно как пашня, всё летящими железками распаханное. А молодые? Куда они мчатся? Они думают, мы их не понимаем. Мы их понимаем! А они нас — не всегда. Мы для них — старьё! А старьё надлежит выбросить. Оно уже немодно! И в дырах. О чём они?.. А, о политике. О войне опять! Бормочут стихи, а это разве стихи? В нас плюют. В то, что не они сами, — плюют. Ну, не все, конечно... не все... А к тебе в монастырь молодёжь разве не приходила? Приходила... Много молодых ты принимала... И в горе, и в счастье приходили... Зачем?.. Чтобы на тебя — подивиться? Чтобы просто потом друзьям сказать, похвастаться: я — у монахини Веры — да, да, у той самой — в Иерусалиме — был!.. и чай с ней пил... с сахаром вприкуску... с баранками русскими... По усам текло, а в рот не попало... Ничего так монашка... бойкая... да, прозорливая... мне судьбу предсказала...»

...Всё слишком странно. Странностей хоть отбавляй. Через край. Водку льют и льют в поминальную рюмку. Воду — в стакан. Я будто в поезде Тайшет — Абакан. Пить! Жажду — жить! От воды всякий пьян. Жажду — быть. Вьётся, сгорает нить. Дорога вьётся. Кто надо мной так хищно смеётся? Вода через край — хрусталь — серая сталь — из стакана, а её льют и льют, утони, захлебнись в огнях и туманах... всё льют и льют...

...что... вино и брашно... страшный?.. суд?..

Зеркальце в пальцах Зиновии страшно высверкнуло. Ударило светом по ослепшим глазам.

Автобус тряхануло, он чуть замедлил бег, потом опять набрал скорость. Лёгкий гул висел в

воздухе, и у Веры закладывало уши, будто они не по земле катились, а летели в самолёте. Зиновия печально спрятала круглое, больно скалящееся сколами огненных скал колдовское зеркальце в сумку. Отвернулась от Веры, глядела в окно. Её лицо, такое знакомое Веры за всё это время, что Зиновия прожила в монастыре, стало чужим: румяным, лоснящимся — довольным, мирским. Она предвкушала сладость той жизни, которую бросила. И, кажется, она — по крайней мере, здесь и сейчас — забыла, что хотела расстаться с жизнью. Жизнь оказалась сильнее её скорби.

Вера не осуждала её. Она радовалась этому преображению.

«С каждым может случиться всякое. Человек меняется. Зиновия изменилась. Где её бессмертная душа? Она родилась к новой жизни. Не все мы умрем, но все изменимся».

Вера шёпотом повторила слова апостола Павла. Что-то произошло с временем. Оно будто остановилось. Автобус двигался вперёд, а время встало. Потом появился яркий свет. Их всех: и железную повозку, и людей внутри неё, — обняла ярчайшая вспышка. Люди ослепли и закричали. Ослепла и Вера. Она перестала видеть Зиновию, людей вокруг, мир за окном. Свет превратился в огонь и достиг сначала до тела, потом до сердца, и сердце наполнилось болью и вспыхнуло.

Вспыхнуло всё.

Всё, что родилось под солнцем и луною.

И ярко, бешено горело всё, что могло гореть.

И огонь.

## ХОЖДЕНИЕ ТРЕТЬЕ. ПЬВИЦА

Под веками пламя.

...Лицо медленно остывало от вселенского жара.

— Э-эй. Э-э-эй! Вера-а-а-а! Проснись! Прибыли!

Вера глядела слепо, беспомощно.

Разум возвращался к ней, но она не верила ему.

Ухватившись за локоть Зиновии, Вера вылезла из автобуса. На другом автобусе они добрались до аэропорта Бен-Гурион. Перелёт Вера помнила смутно. Помнила: тусклые иллюминаторы, и в них — туман, а потом — слепяще-синяя пустота.

Зиновия поймала перед зданием аэропорта такси, назвала адрес. По обе стороны машины мелькала жизнь, не прожитая Верой. Они приехали к Зиновии домой. Вера впервые видела такую роскошь. Цветные плашки паркета отсвечивали голубым, золотым, розовым. Картины болотно мерцали в тяжёлых позолоченных багетах. Хрустальные люстры напоминали сверкающие княжеские лодки. Рояль плыл чёрным лаковым кораблём. Зиновия пробежалась пальцами по клавишам. Смеялась заливисто. Она так радовалась миру! Так радовалась дому. «Какая пылица, — кричала Зиновия, бегая по комнатам и счастливо раскидывая руки, — я завтра же найму горничную!» Она кричала о том, как наймёт ещё повариху и стилиста и как позвонит продюсерам, что сочли её мёртвой. Что-то радостное залихватски кричала ещё. А потом уселась за рояль и стала играть бурно и пламенно, и запела. Её голос заполнил комнаты. Вера не могла сосчитать, сколько у певицы комнат. Да и ни к чему это было. Раздавались звонки, звенели колоколами разговоры, возникали и таяли голоса, люди входили и выходили, а какие-то оставались, пахло варёным и жареным, ярко сияли посреди стола, укрытого белой скатертью, фрукты в мощной великанской вазе, и певица брала из вазы апельсин, чистила его острыми, уже торопливо покрашенными заморским лаком ногтями и хохотала: «Конечно, в монастыре апельсины вкуснее!»

Зиновия жадно окунулась в забытую жизнь, она не пела, а пила музыку, как воду в пустыне, как вино. Обзвонила знакомых музыкантов, что играли с ней когда-то; снова собрала оркестр. «Вера, это мои музыканты! Мои! Ты такой певец,

каковы музыканты твои! И у тебя такие музыканты, какой ты певец!» Опять смеялась. Вера не могла смеяться вместе с ней.

Вере постелили богатую пышную постель, она спала в отдельной комнате, а ночью во сне ей все казалось, что она в своей келье и что рядом сопит, похрапывает сестра Васса; Вера просыпалась, поднималась на локте и испуганно смотрела вокруг себя, с трудом осознавая, где она.

Москву — ту, что явилась ей бегло, быстро, изменчивым ликом своим, когда Вера направлялась в Иерусалим и довелось ей прожить в столице отмеренное время, — она не узнавала и не принимала: слишком сутолочным, слишком ярким, грязным и гигантским, подавляющим каменной мощью своею предстал перед ней этот город, вечерами так полный огней, что Вера, когда выходила на улицу, зажмуривалась, не в силах перенести громадный огненный натиск. Это был город, не знакомый ей, и она совсем не хотела с ним знакомиться; ни к чему он ей был. Многооконные небоскрёбы упирались в небо, а рядом расплзались по пыли, по снегу нищие домишки. Мир никак не мог стать однородным, да и зачем? От века в мире боролись богатство и нищета, храбрость и трусость, добро и зло. Вера понимала: здесь тоже много зла, как и везде на земле. И здесь люди ждут её помощи. Но перво-наперво надо было помочь Зиновии; Вера видела, её захлестнула радость возвращения к самой себе и к земному делу своему, и молила Бога об одном — чтобы Бог ей, Вере, дал силы поддержать Зиновию во всемирном пении её.

Являлись продюсеры: один — лысый и весёлый, другой — волосатый и мрачный; и оба ели и пили у Зиновии, и сновали женщины, чтобы повкуснее накормить мужчин: повариха хлопотала на кухне, горничная и Вера таскали в гостиную подносы с яствами и винами. Пили много. Вера глядела на винопитие без осуждения, спокойными печальными глазами. Всё круглее становились её большие, чуть раскосые, широко распахнутые и широко расставленные под морщинистым лбом византийские глаза; всё сильнее торчали сибирские скулы, и лёгкая раскосинка делала временами диким, таёжным её худое, смуглое, загорелое на жестоком иерусалимском солнце лицо. Не лицо, а лик. Зиновия иногда останавливала взгляд на Вере, вздрагивала и тихо, зло и быстро спра-

шивала: «Что? Судишь меня, святая? Приговор мне сочиняешь? А я вот такая. Хочу — пью, хочу — пою!» Вера вздыхала прерывисто, как после плача. «Пой, Зина. Лучше — пой».

Зиновия взяла её на первую репетицию: «Поехали со мной!» Вера ещё не знала, что Зиновия задумала. Приехали в большой белый с колоннами дом, поднялись по лестнице в белый, тоже с колоннами, зал. Певица взбежала на сцену. И поманила за собой Веру.

— Давай, давай, иди сюда!

Вера глядела строго, свела брови в линейку.

— Зачем? Не пойду.

Зиновия махала рукой, будто тонула и молила о помощи.

— Ну же! Ну!

Вера медленно поднялась по ступеням на дощатую сцену. Вблизи сцена гляделась совсем не торжественно и не нарядно: барабаны свалены в кучу, разбросаны подиумы, вьются змеями микрофонные шнуры, на стульях золотыми недвижимыми тушами лежат тромбоны, трубы и валторны.

— Через провод не упади! — кричала певица.

Вера подошла к ней, припадая на большую ногу. Только теперь она увидела, что близ рампы стоят два микрофона.

Зиновия крепко взяла Веру за руку. Рука Зиновии была твёрдая и тёплая.

— Давай вместе. Чёрный ворон, что ж ты вьёшься... Андрей! — крикнула во тьму зала. — Смикшируй там, где надо. У неё голос сильный!

Вера не сразу догадалась, чего от неё хотят.

Отступить было поздно.

Музыканты валом валили на сцену, рассаживались, гитаристы перебирали струны, духовики брали пронзительные, режущие ухо ноты: разминались. Пианист гонял руки по клавишам и кричал: «Замёрз! Замёрз! Пальцы не шевелятся!»

Вера в чёрной до пят рясе и певица в чёрных обтягивающих бёдра лосинах и чёрной водолазке — обе одновременно вдохнули воздух и запели.

— Чёрный ворон, что ж ты вьёшься над моею головой! Ты добычи не добьёшься... Чёрный во-о-о-орон, я не твой!

Оба голоса, высокий и низкий, заполнили зал так легко, будто светились во тьме тёплым

сладким молоком и его доверху налили в каменный кувшин.

В зале сидели люди. Немного людей. Они замерли, слушая песню.

— Завяжу смертельную рану подарённым мне платко-о-ом... А потом с тобою стану говорить всё об одном... Полети в родну сторонку, скажи мамушке мое-е-ей... Ты скажи моей безной, что за ро-о-одину я пал! Отнеси платок кровавый милой любушке мое-е-ей...

Лысый продюсер привстал в кресле. Лохматый — обнял лоб ладонью, уронил голову на грудь и так сидел — слушал.

— ...Ты скажи: она свобо-о-одна... я женился на другой!..

Люди тихо входили в зал, протекали за задние ряды, мышами юркали на передние места. Кто были эти люди? Случайные в этом большом угрюмом здании и прибились к концертному залу? Утро и час ранний — и что они делают здесь? Они изловили в воздухе музыку, какой не слышали никогда. Зиновия пела, закрыв глаза. Она плыла в песне, как в море. Рассекала голосом и сердцем тёмные воды, чтобы они не сомкнулись у неё над головой. Вера пела с открытыми глазами. Настежь распахнутыми. Она вся была — открытая дверь; и сквозь неё, открывую, мог входить и насквозь выходить, в широкий мир, и ледяной безумный ветер, и любой человек, что сюда забрёл, в зал, и тот, кто тосковал вдаль и не мог въяве слышать песню, но улавливал её последней предсмертной дрожью сердца. Круглые огромные глаза, почти совиные, прожигали тёмный сизый воздух зала. Пахло куревом. Маленький барабанчик отбивал нервный пульс. Один резкий удар, четыре коротких, три длинных. Один, четыре коротких...

— ...Взял невесту тихую, скро-о-о-мну... в чистом поле под кустом...

Обе женщины пели и не смотрели друг на друга. Голоса их сплетались — крепче некуда. Слово это был один голос и разделился надвое.

— ...Повенчальна была сваха — сабля во-о-о-острая моя!..

Зал затаил дыхание. Репетиция, концерт? Всё равно. У царя Давида в руках арфа, и он, закрыв глаза, поет свои псалмы. Пой, Вера, пой! Эта жизнь — тебе. Она твоя. Тебе в ней назначено петь. А ты об этом и не знала.

— ...Калена стрела венчала... середь би-и-итвы роковой... Чую, смерть моя приходит!.. Чёрный ворон...

И тут Зиновия открыла глаза и резче молнии обернулась к Вере.

И поймала глаза Веры, её черные, без дна, зрачки: Вера тоже смотрела на неё.

«Весь я твой!» — надо было спеть древние вечные слова, но Вера всё переиначила. И Зиновия её подхватила.

— ...Я не твой!

Торжествующая улыбка обвила щёки Зиновии. На её румяных скулах застыли капли слёз. Вера стояла прямо и гордо, молча. Сухая, жёсткая, как доска. Как всегда: спокойно.

Молчала, будто бы это и не она вовсе тут так пела.

— Ну что? — спросила Зиновия, и микрофон нагло разнес её вопрос по всем закоулкам зала. — Каково тебе? А? Хорошо тебе? Не ругаешь меня? Ну, поругай, поругай!

Звукооператор догадался и убрал звук.

Люди в зале переглядывались.

Вера повернулась к залу спиной и медленно отошла от микрофона в сторону. Люди видели её спину, облитую чёрной рясой. И ничего не понимали. Монашка какая-то, хромоножка, а голос с целый дом, до дна пробирает, поёт так, что душу вынимает; ну да, они там, в монастырях-то в ихних, петь обучены, с утра до ночи в хорах поют — вот оттуда и взяли, а откуда, вы не в курсе, из Новодевичьего, а может, из Зачатьевского, а может, из Данилова.

\* \* \*

Зиновия стала заниматься с Верой музыкой. Распевать её: ставила у рояля и показывала упражнения для голоса. Вера послушно повторяла. Это было её новое послушание в миру, и она безропотно делала то, что от неё требовали. Голос креп, расширился, приобрел грудные бархатные ноты. На репетициях Зиновии и Веры толклась публика; их репетиции уже посещали как концерты. Зиновия шутила: «Билеты начнём продавать».

Первый их совместный концерт прошёл на ура. Народ завалил обеих певиц цветами. Люди несли и несли на сцену букеты. Люди пришли на

концерт своей любимицы, про неё слухи ходили, что она где-то в монастыре на Святой Земле исчезла, погибла для мира, а она — вон она, живая-невредимая, поёт как соловей, да ещё монахиню с собой из монастыря привезла, с таким голосом — закачаешься! «Браво! Бис!» — орали им, надрывая глотки, и женщины выходили и выходили на сцену снова, кланялись, взявшись за руки; Зиновия улыбалась, Вера всё тоньше в нить сжимала суровые губы. А люди ставили к их ногам корзины цветов, подносили такие букеты роз, что Зиновия не могла унести их за кулисы в руках, как крепко ни обнимала, — и в конце концов клала на плечо и так несла, как вязанку дров, и публика хохотала и рукоплескала бешено.

А Вера шла за ней, стараясь не хромать, а идти прямо и ровно, и ряса её чёрная на сквозняке, что дул из-за кулис, развевалась вокруг ног, делая её похожей на летящее над досками сцены чёрное облако.

Их неожиданный дуэт рождал домыслы, сплетни. Их концерты обрастали невероятными слухами. Жёлтая пресса старалась, вылезала из кожи. Их обвиняли в порочном сожительстве; о Вере писали, что она дочь богатейшего магната, которую он юницей заточил в монастырь из-за скандалов капризной любовницы; а ещё, что она дочь знаменитого итальянского тенора, выросла в Италии и ни слова не знает по-русски, а влюбилась в Россию и тайно приняла православие и монашеский постриг; а ещё, что они с Зиновией задумали узаконить свою грешную страсть в Амстердаме, а потом взять ребёнка на воспитание; а ещё, что Вера на глазах у президентов всех стран прыгала с парашютом на авиасалоне в Париже и сломала ногу и теперь хромает; а ещё, что она, дурочка-монашка, вытащила Зиновию из петли, и в награду Зиновия обучила её пенью, и вот поют вместе. Ещё писали, что всё это театр, кукольная комедия, и никакая Вера не монахиня, а просто так надела рясу — для привлечения народа на концерты, для пушей рекламы. А на самом деле она работает в ночном клубе на Варшавском шоссе, она танцовщица на шесте и искусная стриптизёрша, а это так — наглый маскарад. Чего не вытворишь ради хороших сборов!

Жизнь пошла бешеная, плотно ложились друг к дружке дни, месяцы и годы. Женщин крепко склеивала музыка. Вера окунулась в мир, о каком

даже не мечтала. Музыка раскрывалась ей всем нутром, а внутри были тысячи жемчужин, и все играли светом царским, самоцветным: золотым, алым, сиреневым. Каким угодно. На выбор. Музыка менялась ежесекундно, на лету. Ни одна мелодия не звучала сегодня так же, как вчера. Музыка измеряла время и тут же зачёркивала его, уничтожала. Внутри музыки время не билось, и всё более Вера со страхом и радостью убеждалась: музыка — это Бог.

...Заказать билеты, опять поездка, на неделе концерты в трёх городах, а на другой — в пяти, сумасшедший график; продюсеры вытирали растерянные потные лица — ничего не поделаешь, вас приглашают, это слава, а вы как хотели... Мы никак не хотели, мы, в общем-то, так и хотели; а ваша бэк-вокалистка — ну да, та, высококоньякая, уходит в декрет; да мы знаем, остаются ещё две, этого мало, в апреле концерты в трёх странах, готовьтесь к смене часовых поясов; мы и так не высыпаемся, пощадите, музыка не просит пощады никогда, музыка сильнее всего и всех... Меня в самолёте рвёт, я в самолёте уже всё знаю, и когда высоту наберёт, что делать, и когда садится, как себя вести... А вы думаете, господа, в таком режиме легко ли песни писать, так за чем же дело стало, обучите вашу подопечную, эту, чёрную вашу монахиню, пусть тоже сочиняет, мрачная тётка, как ворона, на сцену вылетает... А вы не меняете ей этот жуткий наряд, отстаньте, это её личное дело... Зина, не кричи, я попробую, завтра вылет в Архангельск, а потом куда?.. А потом в Петрозаводск, а потом в Питер, ударим по северу, Вера, чтобы в самолёте не блевать, знаешь, что помогает?.. Лимон, да, я знаю, знаю...

Зиновия писала песни и пела их с пылу с жару Вере. Перебирала клавиши, закидывала голову. Чёрный пучок дегтярной черепахой сползал с затылка на шею. Вера слушала, и часто по её лицу, когда она слушала Зиновию, текли слёзы. Она не вытирала их. О погибшем сыне Зиновия никогда не говорила. Только однажды пригласила Веру в студию, где стоял чёрный рояль, усадила Веру в мягкое огромное, как корабль, кресло и спела ей песню о сыне. Это не была колыбельная, что Вера услышала из её уст в Иерусалиме. Скорее погребальная песнь; и оттуда, из глубин песни, так явственно и живо восстал мёртвый мальчик, что Вера обе руки ко рту прижала и всё сильнее,

сильнее вжималась в пухлое облако кресла. «Мой родной, мальчик мой! Постучись, родимый, домой. Я тебе открою дверь. Видишь, я спокойна теперь. Как тебе живётся там? Как ты ходишь по облакам? Видишь ты оттуда меня — в молчанье ночи, в сиянии дня? Я не знаю, как теперь мне быть. Я продолжаю тебя любить. Ты ведь плоть моя, кровь моя... Видишь, теперь спокойна я. Только в ночи я слушаю тишь: вдруг постучишь ты. Вдруг — постучишь...» Наивные простые слова нежно легли на светлую, полную боли музыку.

Вера не знала, что говорить. «Тебе нужно эту песню петь одной», — сказала наконец. Зиновия усмехнулась. «Я одна уже не смогу. Сначала я — один куплет, потом — ты».

Настал день, когда Зиновия, сидя на диване и играя с подаренным поклонницей белым котёнком, спросила Веру: «А почему ты музыку не пишешь? Пиши!» Слово Зиновии было для Веры закон. Она села и написала первую свою песню. И песня эта была о Сибири. О Енисее. Как в зимнем дыму он течёт и бурлит, и женщина стоит на берегу, не ведая обид, забыв о судьбе, о времени забыв, а видя лишь этой зелёной воды разлив. И лёд кругом. И мохнатый куржак. И жизнь прожита не за понюх, не за пятак. А просто — за так; за правду и ложь; потому что любишь и, значит, живёшь. Она неловко двигала пальцами по клавишам, извлекая из рояля единственные звуки, не умея толком играть и всё же играя, потому что Зиновия так хотела; нет, сама жизнь так хотела, — и из глотки её выходили звуки, они ей не принадлежали ничуть, их хозяином был Бог, да, Он один. И только потому звуки жили. Зиновия, выслушав Верину песню, подошла к роялю и крепко поцеловала её: «Мы с тобой завоюем мир!»

Вера совершенно не хотела воевать. У неё и так было дел невпроворот. Она наряду с горничной стирала, гладила и на певицу, и на прислугу, и на себя, одевала певицу перед концертом, услужала ей как могла. Сама время от времени чисто простирывала свою ряску, сушила её и гладила, и опять надевала: на все попытки Зиновии одеть её как женщину — нет, ну хотя бы как человека — Вера отвечала отказом: «Мне и так хорошо». Да, это было её послушание. Бог ей так заповедал. Монахиня в миру! Не она первая, не она послед-

няя. Она пела свою новую песню на пару с Зиновией; и вдруг посреди песни, как из надмирного облака, всплывал Иерусалим; и это был уже Небесный Иерусалим, Небесный Град, она еле различала его сияющие башни, стены его играли гранеными зубцами и самоцветно лучились, облачная дымка заволакивала крепкую кирпичную кладку, дым времени курился, будто небесный Енисей обтекал сверкающие стены; она видела стоящих на стенах и трубящих ангелов, и улыбалась им, и радовалась: вот, они играют, музыку и солнце нам посылают, меня ждут, — и я тоже, ангелы, шептала она им, я тоже музыку творю! Я — с вами!

Зиновия за очередную новую песню крепко целовала Веру в щёку. А вечером собственноручно на кухне пекала в честь новой песни громадный, во весь противень, пирог со смородиной. И пирог — дымящийся, сладкий, роскошный — ели, прихлебывая китайский чай «Красный халат», все: Зиновия, Вера, горничная, повариха, продюсер лысый и продюсер лохматый, а ещё поклонница, что подарила котенка, а ещё соседские девочки-близняшки, а ещё школьная подруга, что стала дипломатом в африканской стране, и ещё люди, люди, голоса, крики, смешки, блеск зубов и глаз, янтарное мерцанье коньячных бокалов. Одного пирога на такую ораву было мало, и женщины бежали на кухню — готовить еду ещё и ещё, благо холодильник был едой забит, певица любила стряпать и любила, чтобы близкие люди ни в чём не нуждались. «Самое страшное — голод!» — говорила она, важно поднимая палец, на что Вера, искоса глядя на неё, отвечала: «Самое страшное — жить без Бога».

Что такое жизнь других людей без Бога, они, живя в Москве и катаясь по стране, узнали очень быстро. Жизнь без Бога означала смерть при жизни. То и дело Вере встречались прижизненные мертвецы. Их, ещё живых, убило зло. Злые люди после концерта подходили к ней и плевали на пол перед ней, и корчили рожи: «Ишь, в монашку играет! Постыдилась бы!» Злые люди писали им с Зиновией подмётные письма: «Ну и как вы, наглые тётки, друг другу в постельке? Нравится?» Злые люди лгали Вере в лицо: «Ах, какие у вас чудные песенки! Вы такие обе гениальные! Такие талантливые, просто прелесть! Вы так дивно поёте! Мы в восторге!» — а отойдя чуть

в сторону, шипели за их спинами: «Голоса — как ножом по сковородке, на рожи — две уродки, фигуры — ужас, одна — слониха, другая — платяная вешалка, стишки серые, блеклые, мелодийки избитые, и все у великих композиторов скрадено! Две бездарности, а так прославились! Деньги большие стоят за ними!»

Против злобы надо было бороться. Чем? Молчанием? Вера слишком долго молчала. Она молчала, сцепив зубы. Но наступал день, когда она сама отрубала от себя молчание — и заносила невидимый меч над злом. Потому что если не ты на зло восстанешь, то кто же? И Христос из храма плетью торжников изгонял. Вера защищала не себя — её жизнь не была ей драгоценна; она была нужна ей лишь потому, что она нужна была Богу. Она защищала Зиновию.

Мы бездарны? Не слушайте нас. Мы порочны? Отвернитесь от нас! Мы делаем всё плохо? Ступайте и сделайте лучше нас: покажите нам образец искусства и икону жизни! Вы видите в чужом глазу соломинку? Поглядите в зеркало: может, в своем глазу вы узрите бревно! Зачем же тогда вы идёте на наши концерты? Зачем слушаете наши песни? Значит, мы вас притягиваем? Зачем бежите к нам? Бегите прочь от нас! Зачем вы лжёте себе? Покайтесь во лжи своей и во злобе своей! Иначе злоба сожрёт вас изнутри. Мне жаль вас: вы и так мертвы. Но, продолжая жить так, как вы живёте, во злобе и лжи, вы очень скоро умрёте по-настоящему. А умереть без покаяния и без причастия — это значит, по смерти быть в аду. Вы хотите жить в аду? Вы говорите, что после смерти нет ничего, никакого блаженства и никакого воздаяния, и все это досужие сказки, про ад и Страшный Суд? Это не сказки. Это последняя правда! И последний приговор!

...Они убивают друг друга. Они убивают, глядя пристально. Они вытирают грязные руки о камуфляж и считают выстрелы. Нет. Не считают. Они забывают. Закуривают, водку по стаканам разливают. Пьют и курят. Курят и пьют. До нового боя — тридцать минут.

...Убить врага. Умереть самому. Увидеть лик смерти в огне и дыму.

...На жизнь не в обиде. Разбито стекло.

...Не каждый увидит. А нам повезло.

Вера и Зиновия хотели заглянуть в лицо войне. Они так решили однажды вечером, отдыхая в

гостиной после концерта: красотой музыки хоть чуть-чуть отодвинуть от людских сердец уродку смерть, — и возбужденная внезапным храбрым решением Зиновия, румяная, с горящими глазами, даже выкурила, развалившись в кресле, запрещённую сигарету. Зиновия просила продюсеров: устройте нам концерты в горячих точках! Две певицы летели в Сирию, в Венесуэлу, на Украину, в Ливию. Выступали на военных базах. Когда выходили на сцену обе, Зиновия — в парчовом наряде, Вера — в чёрной рясе до полу, — солдаты рвали воздух восторженными криками. «Они кричат нам браво, а мы ещё не начали петь», — растерянно оглядывалась на Веру певица. Сцену солдаты наспех сколачивали из досок на открытом воздухе. Далеко на горизонте в красное закатное небо поднимались дымы, там рвались снаряды. Доносился грохот орудий. Две женщины пели солдатам нежные песни — о мире, о любви. На пропыленных лицах солдат блестели слёзы. Иной закуривал, уходил в сторону, надвигал каску на лоб: не хотел, чтобы видели, как плачет. Солдат, ты мальчик, и — слёзы! Не стыдись, это жизнь. И война — тоже жизнь. Песня живая, про жизнь, важнее её ничего не было здесь и сейчас.

И, кланяясь солдатам на сухом пустынном ветру, Вера знала: она всё делает правильно.

\* \* \*

Там, на войне, Вера говорила с солдатами. Она не считала это проповедью. Надо было называть вещи своими именами. За что воюете? За кого? Кому служите? Какому царю, какому Богу? Веруете ли во Христа? Она видела: кругом много восточных, смуглых и раскосых лиц. Это мусульмане. Русские ребята переглядывались. Кто-то расстёгивал воротники гимнастёрок, вытаскивал из-за пазухи нательные кресты.

— Люди! — говорила Вера, поднимая руки, и широкие чёрные рукава рясы падали ей до локтей. — Вот вы тут воюете. Не забывайте о Боге! Именно Он всё рассудит. А не тот, кто отдаёт приказы. Слушайте приказа, на то вы и солдаты. Но помните: в мире есть Бог и есть диавол. Диавол сеет всюду соблазн вселенской смерти. Он хочет разять, разрушить. Сердца — окровавить, умы опутать ложью, землю — взорвать.

Всю! Возврата не будет. Вы понимаете, что Страшный Суд будет?

— Понимаем, — гудели солдаты, кивали ей, — да, конечно, понимаем, но когда ещё это будет, об этом фантастические фильмы снимают, а в реальности-то он ой-ей как далеко, а может, человек все-таки умнее дьявола окажется и такого великого зла не допустит, ну, этот, дьявол-то, его окончательно не охмурит, раскинет человечешка мозгами, не перейдёт последнюю черту.

Вера слушала слова солдат, наклоняла голову. Потом лицо поднимала и всех их глазами обводила. Милые, родные! Вашими бы устами — да мёд пить!

Она прекрасно видела: мир уже подвергся неизлечимой болезни, и рассорились страны, и беспомощны люди. И никто не знает, чего ждать от завтрашнего дня. Его призывают, и его дико боятся.

Они, Зиновия и Вера, проповедовали чистой и яркой музыкой, и это была самая лучшая проповедь, какую только можно было представить в умирающем мире.

Музыка легко, играючи стирала грязь подлости, смахивала пыль зла с драгоценного малахита живой земли. Музыка называла все вещи своими именами, не называя их расхожими и бедными людскими словами. Музыка убивала раскол, живым ветром склеивая разорванное, вновь сочетая разбитое. Осколки обращались в бесценную вазу. Убитые восставали из гроба. Память превращалась в человека, а человек — в память, и так соединялись забытые времена. Музыка сама становилась временем, и две поющие женщины с дощатой сцены слали в мир, жадно, безмолвно слушающий их, обращённую в белого голубя любовь: крылатого Ангела, посланника Небесного Иерусалима, смело выпускали в мир они. Он долетал до каждой души. Он целовал всякое сердце, сильно бьющееся от звуков музыки под рубахами, под свитерами, под тонким батистом, под пропылённой, в крови гимнастёркой, под грубой штормовкой. Две женщины не знали, исполнит ли их волю небесный посланник, долетит ли птица; они просто выпускали жизнь из рук: лети.

И летела крылатая музыка.

И от счастья плакали люди.

\* \* \*

И над тем, что делали они и что пели, можно было иным, злым людям смеяться; и смеялись иные люди, и презрительно отдували губу, и фыркали: «Ф-фу! Кому нужно это якобы искусство, это не музыка, а площадная пошлятина, две сентиментальные бабёнки опять заголосили... Одна — монашка, другая — ведьма, а гляди-ка, как спелись!.. Голосишки приятные, да, да вот репертуарец!.. Опять всё на слезу бьёт. Кому нужны эти завывания про Бога, который сильнее всех? Кому — эти заунывные колыбельные, эти сюсюканья, причитанья про снега-ветра, про родные поля-луга?.. Всё это давно устарело. Всё это — мещанство!.. Развлечение для раздобрелых домохозяек!.. Или там в глупом застоле послушать, под студень, под водочку!..» И не ленились злые люди писать певицам письма и записки с оскорблениями и унижениями; и на концертах бросали им на сцену не цветы, а квашенные помидоры и жареные куриные ноги, вываливающие в грязи.

Вера низко кланялась тем, кто бросал на сцену грязную еду, а однажды даже встала на колени и сказала громко, на весь зал: «Простите, что мы ввели вас во искушение и разгневали. Простите великодушно!» И замер зал, внимая — весь, до единого в нём человека — этой просьбе о прощении коленопреклоненной женщины в чёрной рясе.

Так у Зиновии и Веры, как у всякого человека в мире, рождались враги. Враги эти были тайные и явные, и Вера каждый день молилась за них. Она воочию созерцала людскую злобу — когда она жила в монастыре, она даже не представляла, сколько же злобы накопилось в людях, как им не на кого её излить. Любовь умирала, а злоба была такая живучая! Однажды, когда Вера и Зиновия садились в самолёт и уже поднимались по трапу, с лётного поля кто-то швырнул Вере в спину тухлое яйцо. Яйцо разбилось о её жесткую, как лопата, лопатку, вонючие потёки пропитали рясу. Вера обернулась к толпе и внятно сказала, стоя высоко над людьми на ступеньке трапа: «Господи, прости рабу Твоему». И перекрестила воздух: благословила невидимого труса.

Когда они вошли в самолёт, Зиновия в туалете стащила с Веры рясу и застирала пахучее яичное

пятно. Вера смеялась: «Богомазы яйцом образа малюют, вот и я сподобилась». Зиновия надела на Веру свою кофту: «Верочка, птиченька, терпеливица моя! Да я бы с трапа спустилась да как ему кулаком в морду дала, дядьке тому!» — «Пожалей его, Зина, он ведь несчастен». — «Почему?» — «Мало любви ему».

Беда была в том, что обе они — и певица, и Вера — видели ещё и другое.

Они видели, как Бога и впрямь превращают в товар; как из религии, из веры святой дымом исчезают святость и высота. Как вместо духа царствует мамона.

И как любовь раздирают на части, топчут ногами.

А народу нужна была вера. Всё равно нужна — и шёл он к ней, через всю дешёвую ложь, боль и обиду, через ужас обмана и чересполосицу битв и замирений.

И народу нужна была любовь — вопреки безверью и безлюбью, что всё сильнее раскидало над землёй громадные чёрные крылья.

\* \* \*

*Чёрный ворон, да ты, чёрный друг, не вейся...*

*Я однажды человека взяла и убила.*

*И не крикнешь бегущей крови:*

*«Стой! больше не лейся!»*

*Слишком больно бьётся под кожей живая жила.*

*Довелось и мне поиграть в игрушки со смертью.*

*Ах, зачем Ты, Боже, показал мне*

*нагую земную муку?!*

*Люди, мою стыдную рану трогать не смейте!*

*Люди... лучше йодом дождей залейте,*

*перевяжите речной излучкой...*

*Люди, вы над Богом моим смеётесь*

*во всю хриплую глотку:*

*Мол, всё это имбирь в сахарной пудре,*

*небесные сласти!..*

*А на поминках — не молитва,*

*а холодец-водка-селёдка.*

*А живым — метельный лай заполярной власти.*

*В лешей тундре, безьянный, отец мой...*

*Взахлёб собака*

*Лаяла... Оскал охранника...*

*Тёплый приклад двустволки...*

*Смерть не молитва. Не пламя иконы из мрака.*

*Смерть — красные, бешеные глаза старого волка.*



дома. А Вера была. Она, засучив рукава и подоткнув подол рясы, убирала квартиру, отпустив домой горничную. Открыла дверь на звонок. Никогда она не спрашивала трусливо: кто там? Зиновия журила её за это: «Верочка, ты дурочка! Это же мегаполис, а не монастырь! Здесь любой тебя по голове бульжником долбанёт или ножом пырнёт! Или пулю в тебя с порога всадит — и давай грабить! А у меня, сама понимаешь, есть что стащить!»

На пороге стоял N. Бледный как снег. Самого еле видно из-за громадного букета белых роз. Вера поклонилась, приглашая гостя войти. Он вошёл. Сбросил плащ. Вера смущённо одёрнула ряссу, взяла у N из рук розы и поставила в воду — не в вазу: в ведро. Они сели за стол. Розы в ведре благоухали. N заметно волновался. Губы кусал. Вера глядела ему в лицо прямо, светло и спокойно.

— Простите, — сказал N, — простите, простите. Я люблю вас.

Вера вроде бы и не удивилась. Выслушала это, наклонила голову. Молчала.

Она давала человеку свободу: говорить, молчать, плакать, уйти.

— Вы можете смеяться надо мной.

Вера вздохнула.

— Но вы же любите Зиновию. Вы же всегда любили её.

— Да. Я любил её. И сильно любил. Но я любил тело. И меня любило тело. Чужое тело. А я всю жизнь искал душу. Душу! Понимаете, душу! Я всю жизнь... душу искал! И вот нашёл! Нашёл... вас... Не смотрите на меня так! Вы глазами из меня душу вынимаете!

Вера отвела взгляд. Закрыла глаза.

Губы её шевелились. Она беззвучно повторяла Иисусову молитву.

— Вера! — N взял в свою руку её руку.

Вера какое-то время руки не вынимала. Чужое тепло перетекало из руки в руку. И она прислушивалась к этому перетеканию, спрашивала себя: хорошо ли это, плохо ли, что я должна делать? И не делала ничего, просто так сидели рука в руке.

Потом она, будто опомнившись, мягко вынула свою руку.

И её рука все ещё хранила тепло чужой любви.

И Вера помолилась за любящего человека: «Господи, спаси его и сохрани».

— Я не могу вам помочь.

Он плакал:

— Я так и знал! — Склонился над коленями Веры. Припал губами к её руке, спокойно лежащей на коленях.

Тепло чужих губ. Боль чужой любви. Нельзя быть вместе, но и расстаться тоже нельзя. Так рядом!

Дверь стукнула. В гостиную, нераздетая, прямо в шубе и сапогах, разъярённой зверицей ворвалась Зиновия.

Вера, как издалека, услышала её вскрик:

— Я так и знала!

«Вот она почему-то знала всё. А я почему ничего не знала?»

N оторвался от руки Веры, выпрямился, поднялся, глядел на обеих женщин сверху вниз. Высокого роста он был. Глаза его вспыхивали слезами, а лоб волновался, как море, морщинами. Ничего не говоря, не глядя на Зиновию, он вышел. Зиновия резко, грубо, чуть не разрывая мех, стащила пушистую песцовую шубу, переступила через неё, обернулась и пнула её, как убитого зверя. Вколачивая каблуки в паркет, протопала к столу. Села. Мерила Веру острым, ножевым взглядом:

— И что скажешь?

Вера молчала.

— Монашка умоленная! За моей спиной!..

Вера молчала.

— Далеко у вас зашло?! Отвечай!

Вера подняла на Зиновию глаза.

— Зиновия... ты ли это... Бога побойся...

— Никакого твоего Бога я давно не боюсь! — из глаз Зиновии летели искры слёз и ненависти. — Никакого! Я так и знала! Я чувствовала! Ты — предатель! Иуда ты! Ты ничего не говорила мне! Чтобы я... — задохнулась. — Да чтоб ты... — осеклась. — Да ты бы хоть прощенья попросила! У других — просишь, а у меня — нет! Слабо тебе! — и крикнула, протяжно и страшно: — Свята-а-а-ая!

Вера встала из-за стола.

Что-то ей надо было сделать сейчас же; или уйти, и уйти навсегда, или остановить истерику Зиновии, дать ей воды, безжалостно облить её холодной водой, потом растереть полотенцем, и слёзы ей вытереть, обнять, утешить; и правда, может, встать перед ней на колени и прощенья у неё просить, как она просила про-

щения у всех людей, кто их прилюдно оскорблял; а может, надо было размахнуться и влупить Зиновии пощечину, от всей души, и зарорать: «Да никого я не люблю, и ничего и не было, и быстро ты брось эти штучки, рыдания и вопли! Разве же я способна на такое, ты же сама видишь!.. А если ты меня до сих пор не поняла, тогда иди, думай, молись, плачь, понимай!..» И вдруг как кипятком окатило её: когда сидела она за столом, а он, N, целовал её руку, разве не приятно, не радостно ей было? Разве нежностью, сладким теплом не обдавал этот горячий, со слезами, поцелуй её изнутри? А вдруг она сама любит его? И врёт сейчас Зиновии — врёт, что не любит.

«Но я же... я же монахиня... я же всех люблю... всех...»

И Вера растерялась. Она не знала, что ей делать. Не знала себя. И стыдилась себя, и боялась себя. И спрашивала себя: «А что ты чувствуешь по правде? Что? Что?!» Не было у неё на это ответа.

Медленно, медленно опустилась она перед Зиновией на колени. И обняла её ноги, крепко, крепко обняла.

— Зина... прости...

Зиновия дрожала:

— Ага! Прощенья просишь! Значит, рыло в пуху!

Она оттолкнула Веру зло, грубо, как давеча шубу, пнула, и сама отошла, и запустила пальцы с острыми крашеными коготками себе в смоляные волосы, и закинула к потолку лицо, и смеялась, и плакала, — сходила с ума. Вера все ещё стояла на коленях. У неё не было сил ни подняться, ни говорить, ни идти. Она склонилась, будто в земном поклоне, и лбом припала к паркету. И так, согнувшись, стояла на коленях, уткнувшись лбом в пол, как на молитве напротив чудотворной иконы. И незримая икона громадными глазами с тёмного, закопченного лика, светясь синими выпуклыми белками и прозрачными озёрными радужками, зрачками сияя, в которых не чернота, а золото живое, жалобно, слёзно глядела на сжавшуюся в покорный ком Веру, как на приبلудную собаку, как на жалкого голодного зверя, что всецело в чужой могучей власти.

\* \* \*

Посреди ночи Вера внезапно проснулась. Она теперь спала у Зиновии не на мягком диване, не на заграничной пуховой перине — на жёстких досках, чуть прикрытых верблюжьей кошмой, а сверху — грубой льняной простынкой. Такою была её просьба о ночлеге.

Услышала лёгкий скрип. Ещё, ещё один. По плашкам паркета кто-то очень осторожно шёл. По деревянному мосту через незримую реку.

...Перламутр минут, гиацинт часов...

...Отведи беду... отодвинь засов...

...Нет... только не зажигай свет...

Вера таращилась во тьму, но огня не зажигала. Рядом с её рукой на стене висел выключатель ночника. Она не протягивала к нему руку. Ждала. Глаза скоро привыкли к темноте. Она услышала дыхание. И запах спирта. Кто-то пьяный вошёл к ней. «Поздние гости Зиновии? Кто-то мотался по дому и заблудился? Горничная подвыпила... ночевать осталась... и бродит?...» Глаза различили во мраке светлую ночную рубашку до полу. Белую праздничную ризу в полумгле храма.

Белую розу.

Человек вступил в полосу лунного света. Выблеснуло лицо секирой. Женщина. «Зиновия!» — хотела воскликнуть Вера, да не успела: певица уже наваливалась на неё всей тяжестью, грудью и животом, и силилась набросить ей на шею тонкий жёсткий шнурок. Вера всё сразу поняла, отбивалась. Вертела головой, отдирала от груди, от голой шеи липкие пальцы.

Пьяная Зиновия перебарывала Веру, оказывалась сильнее. В Москве певица потихоньку набрала вес, снова стала той пышной примадонной, что когда-то приехала спасать свою жизнь в иерусалимский монастырь. Ей удалось обвить шею Веры удавкой. Сильные пальцы Зиновии затягивали удавку, пьяный язык плёл кренделя, вышёптывал то, что трезвая таила в себе, скрывала.

— Ах ты змея... подколодная!.. Вот она и вся твоя святость... Подлая ты, подлая!.. Ну ничего... молись... Сейчас полетит твоя душа в Рай... или куда там?.. Молись, давай молись... мысленно... Не рвись, дура... я всё равно сильнее...

«Господи Иисусе Христе... Сыне Божий... помилуй мя... грешную...»

Вера лежала под ней, она всё ещё не верила, что Зиновия её убивает; ей казалось это невозможным: «Мне снится страшный сон, я сейчас помолюсь, поднатужусь, скажу себе, что это сон, — и проснусь». Когда пришло понимание: это не сон! — было поздно и бороться, и молиться: Зиновия уже сильно, зло стягивала петлю.

— Сдохни... сдохни, собака!..

Вера видела над собой искажённое злобой и бешеной ревностью пьяное лицо Зиновии, оно уже начало подёргиваться туманом; Вера не могла поднять руки, чтобы оттолкнуть Зиновию или процарапать ногтями её лоб и щеки. Тело утратило силу. А душа ещё ныла и стонала. Ещё хотела жить. Воздуху не хватало. Рот открывался и закрывался, как у рыбы.

Из последних сил, выгибаясь на жесткой своей постели коромыслом, Вера выхрипнула:

— Прости ей... Господи... прости...

И тут случилось чудо. Пальцы Зиновии разжались. Вера громко и хрипло вдохнула воздух. Она дышала с таким звуком, будто ножом чистили сковороду. Вдыхала воздух ещё и ещё, и ещё раз, и веря себе, и не веря: жива. А убийца? Что с ней? Вера не видела Зиновию. Или Вера ослепла?

— Зина... — Хрипы разрывали грудь. — Зина... где ты...

Рядом, на подушке, валялась чёрная удавка.

Зиновии не было нигде.

Вера приподнялась на кровати на локте — и увидела её. Зиновия распласталась на полу животом. Ноги разбросаны по полу, руки согнуты в локтях, ладонями затылок обхватила. Трясётся, стонет. Бормочет невнятно. Вера прислушалась. Да, говорит! Ей, Вере. С ней. И ей всё равно, слушает, слышит её Вера или нет.

— Я тебя... к музыке ревновала... Не только к нему... к поганцу... а к песням... к успеху!.. Мне казалось, ты у меня успех крадешь... что все восторги лишь тебе достаются... А я... я одна... хотела успеха!.. невероятного, громадного... чтобы мне одной доставалась вся слава... А тут — ты... под боком... как бельмо на глазу... Да ещё как поёшь... так поёшь — лучше меня... лучше... лучше... Все сердца сразу в плен берёшь... А меня уж никто и не слушает... и никто на меня не смотрит...

Вера, надсадно кашляя, прижав ладонь к искалеченному удавкой горлу, с трудом спустила

ноги с кровати, хотела идти — и упала рядом с лежащей на полу Зиновией бессильным тяжёлым снопом.

Она хотела её обнять. И обняла. Теперь она, Вера, всею тяжестью своей, жёсткой, угластой, легла на Зиновию. И придавила её к паркету, так срубленное дерево придавливает раненого зверя.

— Ты мне всё говори, всё, всё... Я всё выслушаю... всё пойму...

— А... простишь?...

Зиновия повернула лицо, она щекой лежала на полу, её рот безобразно расплюснулся, губы, набухшие вином и рыданиями, еле шевелились.

— Бог тебя уже простил...

Лежа под Верой, обнимающей её, Зиновия, задыхаясь, лепетала:

— Я... я гадина!.. Прощенья нет мне... Я ведь давно хотела тебя убить!.. Очень давно... ещё в Иерусалиме... когда к тебе все шли и шли, и я думала: вот она святая... Её все любят, перевозносятся... к ней все идут на поклон... и помощи у неё просят, и руку ей целуют... а у меня никто помощи не просит, только вопят мне: «Песен!.. Песен!.. Пой нам!.. Пой быстрее, да всё самое лучшее, мы тебе — денег заплатим!..» Я свой дар обращала в деньги... в одни только деньги... и не стыдилась... Бесстыжая я была... и есть... Сгорел мой стыд синим пламенем!.. А когда, я и не заметила... Не... заметила... — и сотрясалась в бешеном плаче.

Вера быстро, жарко целовала её затылок. Потную шею в вырезе рубахи, спину, плечи.

— Ну, Зиновочка... ну, успокойся, успокойся... Всё ведь кончилось, всё... Ужас прошёл... Давай Господу помолимся...

Одним резким движением Зиновия перевернулась с живота на спину, отбросив в сторону Веру, и Вера разжала объятия и испуганно притиснула руки к груди.

— Господу?! Господу... Да разве же я сейчас на Господа имею право! Я же — убийца!.. Чуть ею не стала...

— Господь пришёл не к праведникам, но к грешникам, — хрипло и твёрдо сказала Вера.

Зиновия лежала на полу лицом вверх. Смотрела на Веру.

Вера смотрела на неё.

Зиновия смотрела на Веру глазами растерянными и всё ещё ненавидящими её. И себя — не-

навидящими за то, что грешница; что пьяная дрянь; что не удержалась, не устояла.

Вера смотрела на Зиновию спокойно и мрачно. Так смотрит мать на сына, что убил ближнего своего; и не прощает его; и тут же прощает, ибо она — мать.

Она только мать, и ей нельзя убить и затоптать своих детей.

Её дети согрешат, убьют, предадут, а она простит их, а если они не способны каяться, она сама покается за них.

— Зиновия... Зря ты пила вино...

— Не вино, а коньяк, — страшно усмехнулась Зиновия.

— Ты простудишься так лежать. Вставай.

И Вера протянула Зиновии руку, а потом вторую. Она протянула ей обе руки.

Зиновия схватилась за руки Веры, Вера потянула её вверх, всё вверх и вверх, и так подняла её на ноги. Обе стояли, шатаясь, будто обе пьяные. Обнимали друг друга, поддерживали друг друга, чтобы ни одна не упала.

— Сядем... Ноги слабые, как ватные...

Сели на Верину кровать.

— Верка... — Зиновия опять еле плела языком. — Ты вот что спишь на каком бездарном ложе... жёстком, сволочном... как в монастыре... Тело твоё... не отдыхает нисколько...

— Не надо, чтобы тело наслаждалось, — Вера закрыла глаза, тяжело дышала. — Надо, чтобы дух работал.

— Вот у меня работал-работал... и отбросил копыта...

— Не кощунствуй. Тебе надо попить воды. И мокрое полотенце на лоб. Я сейчас... принесу...

Вера встала и с трудом побрела в ванную комнату. Появилась с намоченным полотенцем и с кружкой холодной воды.

— Пей!

Зиновия покорно пила.

Вера обвязала ей голову мокрым полотенцем.

— Сиди так. Через полчаса хмель выветрится. Ничего не говори. Просто смотри на меня.

И Зиновия послушно, как собака, смотрела среди ночи на Веру, на её бледные щеки и капли пота, что катились с висков на щеки, на развитые и мокрые её волосы, на монастырский платок, сползший на плечи, — им Вера повязывала голову на ночь. На дрожь её пальцев,

на коричневую букашку малой родинки над верхней губой. Смотрела Вере в широко раскрытые под высоким лбом глаза.

А из глаз Веры на Зиновию смотрела недавняя смерть.

Вера её увидела и переплыла, и глаза её все ещё смерть отражали.

Но жизнь подносила свое серебряное-золотое, угрюмое в угрюмой ночи зеркало прямо к Вериным глазам. Из живой амальгамы вливалось все живое в Веру, питая, насыщая. Прощая.

— Зина! Тебе лучше?

— Да, Вера.

— Я отведу тебя спать? Надо уснуть. Хочешь не хочешь, а надо.

— Может, лучше я с тобой посижу?

— Нет. Не надо.

— Ты меня не бойся. Я уже...

— Я знаю. Я не боюсь. Просто надо отдыхать. Завтра — работа, репетиция. А послезавтра — концерт.

— Я знаю. Вера! Прости меня. Простишь?.. Простила?..

— Когда ты это делала, я тебя уже простила.

Зиновия упала головой в колени Веры.

— Прости... святая... ещё раз!.. и ещё!.. и каждый день... Всё прости и прости... Всё прости и прости...

Вера улыбалась, и слёзы длинными белыми, в ночи серебряными полосами разрезали её по-лынно-бледное жёсткое лицо.

— Бог простит.

\* \* \*

*Ты меня убила. Ты возревновала.*

*Ты жестоко, страшно позавидовала мне:*

*Что не ты, а я другого целовала —*

*Не устами — сердцем: птицею в огне.*

*Долго ты готовилась. Даже и молилась.*

*Ладила верёвку... точила смертный нож...*

*Ну, давай убей меня, подруга. Сделай милость:*

*От сумы, от тюрьмы и тьмы — не уйдёшь.*

*Вот и свечерело. Постирала рясу.*

*Возвела глаза на иконописный дым —*

*На кольчугу скани, на рубины-стразы,*

*На нежнейшую ликом, честнейшую Херувим.*

*А никто не верит. Времечко иное.*

*Бездною безверье зверие глядит.*

*Ты, моя убийца, нынче будь со мною —  
 Не ревнуй напрасно, не таи обид.  
 Тебя привечаю. Наливаю чаю.  
 Кто тебе такая на седой земле?..  
 Бедная расстрига, певчая-шалыная,  
 Ряса чёрным ветром — в позёмке, во мгле.  
 Не ревнуй к любви! Реки пьяной крови  
 Протекают мимо наших губ и глаз.  
 Где твоя верёвка? Нож наизготове?  
 Молюсь перед смертью — будто в первый раз.*

*Что же ты рыдаешь, меня не убиваешь,  
 Что прощенья просишь, не встаёшь с колен,  
 Что слезами жаркими ярость заливаешь,  
 Что бормочешь тихо: всё прах и тлен?..  
 Не скажу ни слова. К смерти я готова.  
 Ряса моя чистая. И душа чиста.  
 Кто меня любил — пусть полюбит снова.  
 Обольёт слезами подножие Креста.  
 Тяжко в жизни Вере. Не откроют двери.  
 Закрывают ставни... сердце — на замок...  
 Люди, вы же люди. Люди, вы не звери.  
 Люди мои, в каждом — одинокий Бог.  
 Тоже человек Он! Больно ему, туго!  
 Умирать не хочет! Лысая гора!..  
 ... Ты моя убийца. Ты моя подруга.  
 Ты же, Богородица, плачешь до утра.*

\* \* \*

**В**ера обратила человеческие страсти и страдания в песню. Обе пели её на концертах. Публика слушала с замиранием сердца. Песне этой всегда кричали «бис!», и Вере и Зиновии приходилось ещё и ещё раз петь её. Зиновия пела, и слёзы блестели у неё на глазах. Вера пела страстную, страшную песню спокойно и гордо. Её низкий голос летел над залом, взмывал большой сумасшедшей птицей и улетал к небу через лепнину потолка, через сырую холодную жесть крыши. Всё та же ряса, народ уже к ней привык. Всё тот же апостольник, обвязанный вокруг шеи.

Когда она дома разматывала и сдёргивала с себя апостольник, чтобы расчесать волосы перед сном, и подходила к зеркалу, зеркало холодно отражало её суровое, подсушенное безжалостным временем лицо и узкую красную борозду от Зиновьиной удавки на высокой и гордой шее.

Н после покушения Зиновии на жизнь Веры

больше не появлялся в доме Зиновии. О нём не было ни слуху ни духу. Однажды раздался телефонный звонок. Зиновии не было дома. Вера медленно подошла к телефонному аппарату, сработанному под старину: трубка лежит на позолоченных оленьих рогах, циферблат с ангелочками. «Добрый день. Говорите. Не молчите!» Длинное молчание порвал надвое знакомый голос: «Вера? Только не бросайте трубку. Я прошу вас о встрече. Если вы боитесь дома... да, дома лучше не надо, давайте на улице. В ресторане. В кафе. Можно где-нибудь в спальном районе, чтобы нас не увидели... не узнали». — «Хорошо», — ответила Вера. И больше ничего не сказала.

Они увиделись с N возле дальней, на поверхности земли, станции метро. Воздух дышал весенним безумием. Рядом с метро весело мчались пригородные поезда. N не прикасался к Вере. Не брал её под руку и даже не смотрел на неё. Она видела: это он боится её, а не она его. Они быстро нашли бедное кафе. Низкие тёмные потолки, плафоны горят жёлто-молочным, унылым светом. На одном-единственном столе в вазочке торчали мимозы. «Сядем к мимозам, — кивнула Вера, — они живые». Сели.

И молчать, и говорить было одинаково трудно. Первым отважился N: «Вы простили меня?» Вера думала мгновенье: «Вы ничем не виноваты. Ни передо мной, ни перед Богом». N поморщился: «Опять вы о вашем этом Боге! Мы не в церкви и не в монастыре. Я вызвал вас не просто так. Не... чтобы поглядеть на вас... хотя и это тоже. Вот... гляжу». Он и правда вскинул голову и гладил, и целовал Веру глазами.

«Я слушаю», — спокойно сказала Вера, когда молчание выплеснулось через край.

«Я долго не буду вас мучить. Без предисловий. Только ни о чем не спрашивайте меня. И... не переспрашивайте. У меня есть сведения, и они достоверные, что скоро... может быть, завтра... начнётся война».

Вера не удивилась. И спрашивать, как её о том просили, ничего не стала.

Просто сказала: «Война всё равно начнётся. Только никто не знает когда».

N вдохнул и громко выдохнул: «Спасибо, что вы не женщина. Извините, я не хотел. В том смысле, что вы не ахаете, не плачете. Вы не обиделись? Сведения мои очень точные. Я допущен

в святая святых. Я дружен с людьми, они... я не имею права о них говорить. И даже вам. И никто не имеет права. Да и что вам скажут их имена? Вы далеки от этого всего».

«Да, — склонила голову Вера, — я далека».

Н нервно мял руки на столе, он заказал кофе и мороженое, Вера пододвинула ему мороженое: «Мне нельзя, сейчас Великий пост». Н поморщился, Вера усмехнулась, отхлёбывала из крошечной, как ракушка-беззубка, чашки крепкий кофе, а Н что-то говорил ей, она уже не слышала. Призрак Большой Войны заревом встал перед ней, и она не знала, куда ей спрятаться. Да и все люди не знали. Они бежали, пригибались, приседали, ложились животами на землю, вминали лица в камни и песок, молились — Вера не ушами, а отчаянным сердцем слышала их молитвы, — и она молилась вместе с ними, а зарево росло и надвигалось, и не укрыться от него. Сегодня или завтра — всё равно! Зачем же тогда была вся жизнь земная? Все людские любви? Все дети, что рождались и громко вопили, когда их обмывали и пеленали, все старики, что смиренно умирали? Зачем богомазы писали иконы, музыканты играли на скрипках и дудках, а певцы пели песни, широко разевая восторженные рты? Зачем тогда было всё это? Уж лучше бы никогда всего этого не было. Зачем Бог положил человеку рождать в мире неизреченную красоту, а сам обрёк тварь земную на постоянное страшное ожидание Страшного Суда? Что есть Большая Война? Это, видать, и есть Страшный Суд. «Восстанет Бог на Суд, и небо, и земля разорятся, весь мир разрушится, все красоты его исчезнут. Восстанет Бог на Суд нечестивых и непокорных, и тварь обратится в прах. Кто в состоянии вынести силу Его? Падут перед Ним все высоты и низринутся все долины; и небо, и земля прейдут и исчезнут как дым, — шептала Вера, нимало не задумываясь о том, слушает её Н или нет. — И перед Ним, и окрест Его огонь пополяет и поедает грешных и безбожных. И все те, которые не чтити и уничижали Его, издеваясь над Его долготерпением, как сухие ветви истреблены будут исходящим от Него огнем. Небо омрачится от ужаса: какой же нечестивец спасется тогда? Море высохнет от страха: какой же беззаконник останется в живых? Вся земля сгорит: какой же грешник избегнет наказания?»

Огонь возгорится от Господа и всюду потечет на отмщение; и небо, и земля, и море воспламенятся, как солома!» Вера не понимала, что говорит слова преподобного Ефрема Сирина уже громко, во весь голос. На неё изумленно и гневно глядели люди, сидящие за столами в кафе. Кто-то постучал согнутым пальцем по лбу: дурочка! Кто-то рассерженно бросил Н: «Слушайте, уведите вашу даму, она невменяемая! Здесь люди отдыхают, едят и пьют, а вы!..» Издалека крикнули: «Как накачалась бабёнка! Выведите её! Позовите вышибалу, официант!» Н пришлось взять Веру за руку, и тогда она прекратила быть Ефремом Сирином. Вырвала руку и прижала ладонь ко рту. «Я люблю, когда вы так руку прижимаете к губам», — пробормотал Н. В его глазах ходило северное сиянье.

Ваза с мимозами упала, Н неловко, локтем задел её, вода растеклась по столу.

Вера пришла домой. Лицо её превратилось в камень. Зиновия была уже дома, ураганом бегала по комнатам, вывалила из шкафов все платья — завтра их ждали с концертом в Кремле. Вера прошла мимо Зиновии, как мимо шкафа, тяжело, мешком, села в кресло. И будто вросла в него. Не двигалась. От каменного её лика исходил лютый холод. Зиновия бросила копошиться в ярких тряпках. Подошла к Вере. Села на пол у её ног на маленькую скамеечку. Скамеечку эту смастерил Зиновии Н, когда он еще любил её. Смотрела на Веру снизу вверх. Все вверх и вверх.

Смотрела и ничего не говорила.

Вера наконец перевела на Зиновию глаза:

— Что, Зина?

— Это что с тобой, Вера? Ты сама не своя.

Вера ослабила пальцами хватку платка на шее. Зиновия видела: она задыхается.

— Всё — ерунда. Всё преходяще. Давай лучше я поглажу твоё платье. Ты уже выбрала платье на завтра?

— Выбрала. — Зиновия похлопала себя ладонями по бокам. — Вот оно! На мне.

— Снимай. Эта ткань мнётся. Я поглажу.

Зиновия стащила платье через голову. Вера взяла его, аккуратно разложила на гладильной доске, возила по яркой цветастой ткани тяжёлым, как гиря, утюгом.

Зиновия сидела в одной сорочке на смешной детской скамеечке, глядела на Веру.

— Ты так красиво гладишь. И умело! Я так не умею.

— Меня мать научила.

Через секунду, тяжело разглаживая шов, Вера набрала в грудь воздуха и вытолкнула:

— Я видела сегодня N. Он сказал мне: скоро война.

Зиновия сидела не шевелясь. Потом медленно сползла со скамейки на пол. Сорочка её задралась и лежала на паркете вокруг её бедер мёртвым шёлком. Она заплакала так быстро и так горько, что Вера испугалась — такой плач нельзя было ничем утешить.

Только одно оставалось. Вера поставила на железную подставку утюг, бросила на диван глаженое платье и села на пол, рядом с Зиновией. Обхватила её за голые плечи. Крепко обняла. И заплакала вместе с ней.

Так они сидели и в голос плакали, две бабы.

\* \* \*

— Этот концерт будет последний, — сказала Вера Зиновии.

— Как — последний? — Зиновия всё ещё не понимала.

— Очень просто. Я больше не буду петь.

— Со мной?!

— Ни с тобой. Ни с кем.

Зиновия пожала плечами: блажь, настроение такое!.. Вот пост закончится, и наступит Рождество, и все вкусно поедят, и Верочка тоже, и всё плохое отлетит, как с белых яблонь дым!.. Вот ведь она, Зиновия, даже смерть сына пережила, а ей-то, ей-то что страдать?.. Никого особо не теряла, никого не любила... Ну, да... не любила... и не полюбит... сухарь несчастный, Верка, сухая косточка... галета иерусалимская... Готовились к концерту. Складывали ноты в кейс. Зиновия шептала себе под нос, повторяла тексты, чтобы не забыть. Бросала в косметичку пудру, патроны помад, духи, бусы, серьги: артистка на сцене должна радовать глаз зрителя... иначе грош ей цена в базарный день! Зиновия паялила на ноги тесные туфли, морщась, неуклюже бегала в них по комнатам: разношивала. «Ох, красотища!.. Да малы немного. Верка!.. Я в них водки налью, они по ноге и распрямятся!» И правда, наливала в туфлю

водки, хохотала: «Теперь от меня горьким пьяницей пахнуть будет!» Вызвали персонального шофёра. Обе, и Зиновия, и Вера, сошли по лестнице вниз, машина ждала у подъезда. У Веры было чувство, что она спускается в преисподнюю.

— Судия восседает на огненном престоле; окрест Его море пламени, и река огненная течет от Него подвергнуть испытанию все миры. И в людей вложил Он огня Своего, чтобы не попалил их оный огонь, когда воспламенит Он всю тварь и будет очищать её как в горниле...

— Что ты там бормочешь, Верочка? Быстро в машину! Всё рассчитано по секундам!

И они втиснули свои тела в лаковую красивую железную повозку, и покатила железная повозка по каменным улицам, неся обеих женщин в своем брюхе: чтобы родить для толпы людей, собравшихся в блестящем холодном, как ледокол во льдах, зале, единственную, жаркую музыку.

Как они пели на том концерте! А разве музыку можно — словами? Слово тоже может стать музыкой, но для того, чтобы это произошло, надо умереть и ещё раз родиться. Несчастен тот, кто не умеет умирать. Если ты в юности прошёл через смерть, она не страшна тебе и в старости, она — твой друг. Господь прошёл через смерть, и музыку Его бессмертия слушает весь мир вот уже две тысячи лет. И вечность будет слушать; Он сам сделал Свой выбор. Не убоись ничего, человек! Ты ведь создан по образу и подобию Божию. Зачем ты сам себе врешь, что ты не музыка? Ты — музыка! И ты — Бог!

Но только тогда, когда ты не глумишься над Ним, и не плюешь в Него, и не вопишь на всю грязную площадь: «Распни Его!» — а молишься даже не Ему: молишься — за Него.

Они обе вышли на сцену и поклонились, и запели. Оркестр сливался с их голосами, вместе, сияя, голоса живыми реками бежали к океану. Океан сиял, перекачивал волны вдали. Розовый и золотой прибор топырил пенные гребни. Необъятная музыка колыхалась, звала. Ждала. Её жаль, так жаль было покидать. И разве Веру кто просил это делать? Её просто вели, и она шла.

«Господь, спасибо Тебе, что Ты ведешь меня. Спасибо Тебе за волю Твою. Я исполнила свое

дело здесь, и я опять должна срываться с места и лететь. Прости меня, если тут было что не так!»

...Руку твою сжать... так крепко, до кости сжать...

...Я твоё дитя. Ты моя мать.

...Я твоя мать. Ты моё дитя.

...Я тебя родила, в небесах летя.

...Ты моя подруга. Колочее жнивье.

...Ты дрожащее живое зеркало моё.

Она не слышала, как катился к их ногам прибой аплодисментов, и им кричали «браво!» и вызывали на бис. Зиновия брала её руку, пожимала, у них были условленные пожатия: два раза — это на бис песню поём, два коротких, одно длинное — поём на бис, но не эту песню, а другую. А одно пожатие — это значило: ничего не поём, устали, просто низко-низко кланяемся! Два раза, песня на бис. А какую мы пели? Только что? Я не помню. Не помню!

— Зина... что поём?.. — шёпот беззвучный.

Зал кричит и рукоплещет.

Оркестранты стучат смычками по струнам.

— Как — что... только что пели... память отшибло... «Молитву»...

— А, «Молитву»...

И они пели «Молитву», недавнюю Верину песню, и в зале опять плакали люди, потому что люди на краю смерти хотели жизни, и чужие нежные голоса им давали её, полными горстями, — и люди ели и пили эту жизнь, и готовы были пить и есть всегда, и дорого за неё заплатить, даже не деньгами, нет, чем-то гораздо более драгоценным и важным: возможно, даже жизнью самой; с этой музыкой они не боялись умереть, и это была этой музыки главная тайна, ни у кого не хранилось за пазухой такой тайны, только у этих двух странных женщин, одна — монашка, другая — царица, пышная и красивая, как Екатерина Вторая... да что вы сочиняете, простая русская баба, на крестьянку похожа, да они обе крестьянки, глядите, какие грубые руки у той, что в монашьем платке, и лицо у ней грубое, будто топором стесанное, да, лицо как скала, к такой не подступишься, — а голос, голос! Он же летит сквозь тебя! Насквозь! Он тебе... состав крови меняет... эти песни слушаешь — и другим человеком станешь...

— Моя молитва — моё объятье. Моя молитва — любовь моя.

— Снимаю жизнь я, как будто платье!.. Устала в тесной одежке я...

Они обе пели слова Веры и песню Веры, — и Вера пела её как чужую, Божию, а Зиновия пела и сладко завидовала: вот, гляди ж ты, какое чудо сподобилась написать, моя преподобная.

Вера пела: «Устала, Боже!.. Уплыли силы...» — а её собственную музыку и её собственные просты, земные, жалкие слова заслоняло это, великое: «Суд без милосердия и огонь неугасимый ждут нас. Помни о сем, душа моя, позаботься избавиться от сего и возьми с собою добрые дела в дар Судии». Иная музыка, мощнее и величавее, печальная, необъятная, огненными столбами восставала перед нею до неба, и была эта музыка гораздо сильнее и чище всех на свете человеческих музык; и только немногие из человек могли такую музыку услышать и нотами — записать. И ночными, неутешными слезами — оплакать.

— Ни от сумы... ни от тюрьмы...

— Я жизни Божьей... я жизни милой...

— Я жизни светлой — молюсь...

— Из тьмы...

Песня закончилась, две певицы стояли на сцене и не могли ни говорить, ни петь, ни кланяться — силы их все, до капли, были выпиты музыкой, которая больше не повторяется в жизни. Люди встали с кресел, поднимали над головами руки, хлопая. Плакали. Улыбались. Кто-то крестился. Кто-то лицо ладонями закрывал. Густой гул стоял в зале. Обе женщины стояли недвижно и шевельнуться не могли. Вера закрыла глаза. У неё было чувство, что ступни её приподнялись от пола и она повисла в воздухе.

— Вот это успех, — шепнула Зиновия.

Шёпот этот отрезвил Веру. Она повернула к Зиновии голову.

— Давай поклонимся.

Они взялись за руки, как дети, и поклонились — раз, другой, третий.

Зал неистовствовал.

\* \* \*

И тут из первого ряда поднялся человек, высокий, с гладко выбритым лицом, и сделал незаметный знак рукой, и тут же ему из-за тяжёлого атласного занавеса два служителя вынесли букет роз.

Это был не то чтобы букет. Цветочная пирамида, торжественный собор, сложенный не из кирпичей — из цветов. Тёмно-красные, бархатно-мрачные розы вспыхивали и гасли среди глянцевых болотно-зелёных листьев турмалинами в пещере.

Человек этот был N. Он подхватил букет из рук капельдинеров и чуть не упал под его тяжестью. Поднял его перед собой, ничего не видел из-за плотной алой стены роз. Понёс, осторожно ступая, осторожно всходил на сцену, нащупывая ногами ступени лестницы. Зал замер, утих. Все напряженно следили за человеком с могучим букетом. Многие узнали его. По залу ходили вспышки шёпота: «Это N, N!»

Человек поднялся на сцену и тяжело, как медведь, ступая по широким доскам, пошёл к обеим певицам. Дошёл. Наклонил голову, пытаясь из-за частогокола цветов увидеть лица женщин. Ему это удалось. Зиновия поймала глазами его глаза. Вера смотрела поверх него, поверх и мимо зала. Ему почудилось: эта полоумная монашка смотрит в небо. В её холодных радужках плыли облака и скрещивались лучи. Она смотрела на Град Небесный и улыбалась.

N хотел протянуть великанский букет Зиновии. Она уже протянула руки. Он передумал. Склонился перед Верой и тихо, медленно положил розы к её ногам.

Стояла тишина, как в колодце. N отступил на шаг. Зиновия закусил губу и побледнела. Вера вернулась с неба на землю. Увидела гору цветов у себя под ногами. Наклонилась, бережно, как новорожденного козлёнка, взяла букет, пошатнулась под его тяжестью, потом взвалила себе на плечо и так, с букетом на плече, медленно, чуть покачиваясь, припадая на ногу, пошла за кулисы. Она колола пальцы о шипы. Но улыбалась. Публика не должна была видеть её боли. Только радость. Зиновия стояла посреди сцены. Она растерялась. Идти вслед за Верой? Сзади? На вторых ролях? Нести невидимый шлейф её непонятной, странной славы? Её бледность сменилась густым гневным румянцем. Щеки её стали такого цвета, как унесённые за кулисы Верой розы. Публика молчала. Публика боялась аплодисментами обидеть одинокую посреди пустой сцены певицу. Публике нечего было сказать Зиновии — ни криками, ни молчанием.

\* \* \*

А в самом конце второго отделения на сцену бросили горбушку хлеба.

В насмешку? Весело глумясь?

«Дурацкую милостыню опять нам изобразили. Хулиганят! Унижают. Жеста нашего ждут... воли нашей... как себя поведём».

Вера втянула носом воздух и вдруг стала похожа на большую собаку, делающую стойку.

Кто вопил. Кто хохотал, пальцем показывал. Кто возмущался, веером обмахивался: боже, какая духота, какое издевательство! Кто ждал: что сейчас будут делать эти дивы, одна роскошная дама, в музейных жемчугах, другая умалишенная монахиня, в рясе до пят? Горбушка лежала у ног Веры, Вера к хлебу ближе стояла.

Зиновия подняла руку, останавливая поток оркестра. Река музыки перестала течь. Голые перламутровые руки Зиновии покрылись гусиной кожей. Она следила, как Вера делает шаг к горбушке, как встаёт на колени.

Вера встала перед хлебом на колени.

Взяла хлеб в руки. Вдохнула его.

И — поцеловала.

И опять затих зал. Сначала молитва, потом розы, теперь хлеб! Сначала: Бог, пусти меня в Рай! И вот Райский Сад. И вот опять на земле, полной мучений, со слезами ты ешь хлеб свой.

Вера откусила от хлеба. Ела его. Жевала. Проглотила. Люди, в душевной тишине, видели это.

Из партера, амфитеатра, лож и с галерки. Вера медленно съела брошенную на сцену ей, как собаке, грязную горбушку и, стоя на коленях, перекрестилась.

Встала. Молчала.

Поклонилась — на все четыре стороны.

Музыканты за пультами опустили головы.

Дирижер яростно дергал галстук-бабочку.

За кулисами стоял продюсер и корчил гневные рожи.

И он ждал. И все ждали.

Когда Вера протянула руки к залу, зал ответил не овацией — настоящей бурей.

Вера бессильно обернулась к Зиновии, ясно, по-детски глядела.

— Так кричат... будто война началась...

— А хоть бы и началась, — сквозь зубы процедила Зиновия.

Потный румянец раскрасил её яблочные, круглые щеки.

Они кланялись, держась за руки, а мир грохотал, гремел его гром, шёл стеной ливень.

\* \* \*

*Они увиделись с N ещё не раз и не два.*

*Вера пыталась узнать последнюю правду.*

*Она задавала ему вопрос, что задавала  
своему отражению в безумном зеркале — там,  
в монастырском Эдеме.*

*Есть ли ключ от сундука, где спасение хранится?*

*Есть ли тропа, по которой —*

*уйти от гибели Мира?*

*N спокойно говорил с ней. Их обнимали то тёп-  
лая, сдобно пропитанная пряностями и дамскими  
духами духота ресторана, то уличный колючий ве-  
тер. Время принимало обличье ветра и снега,  
расхристанных говорливых, грязных ручьёв неж-  
данной оттепели под подошвой, под каблуком. N  
говорил с Верой так, будто боролся с ней.*

*И она с ним билась; шло подлинное сражение.*

*Два человека пытались доказать*

*друг другу правду.*

*Отнять правду друг у друга.*

*N не кричал. Не спорил с Верой. Он усмехался.*

*Холодные слова лились сквозь зубы, рот кривился.*

*Ей казалось: он презирает её, дуру-бабу.*

*И она в ответ не кричала.*

*Выдыхала слова тихо, нежно.*

*Но эта нежность полосовала N*

*остро наточенным лезвием.*

*Мы самые сильные!*

*Мы не самые.*

*Мы герои!*

*Есть в других землях другие герои.*

*Мы богатые!*

*Поддай всем нищим на всей снежной паперти.*

*Всем!*

*Мы будем дирижировать этим оркестром.*

*Вера всё понимала, но всё же спрашивала.*

*Каким?*

*Миром!*

*Многие хотели стоять*

*— за этим дирижерским пультом.*

*Мы помним, чем это кончалось.*

*Все — мелкие черви у нас под ногами!*

*Вера оборачивала к N румяное от холода лицо, ве-  
тер гневно поднимал мех её воротника.*

*Зря вы мне это сказали.*

*Почему?*

*Потому что тот, кто говорит так —*

*говорящий червь.*

*N умолкал. Они шли дальше молча,*

*против ветра.*

\* \* \*

**В**ера не говорила Зиновии об этих странных встречах. Мимолётных, беглых; вроде бы незначущих; быстрых и холодных, как мрачный дождь.

Она понимала: спокойное свидание и неспокойная беседа — всё, что она могла подарить N на этой земле. Что будет там — потом, в небесах — никто не знал. И она знала меньше всего. Облака могуче и грозно ходили в небе; в этих призрачных ладах плавало, плыло время.

Иногда N приносил Вере подарки. Она долго вертела в смущённых руках красивый браслет из крупной яшмы и тёмно-зелёного малахита — и, повертев и насладившись его созерцанием, возвращала его, не глядя в лицо N. А потом всё-таки вздергивала голову и пыталась на N глядеть. Вера не видела его лица: оно плыло мимо, как облако, попадало в слепое пятно. А может, она его просто не запоминала.

Ночами пыталась, закрыв глаза, вспомнить, и попытка умирала, не родившись.

N пригласил её в очередной ресторан. Она пыталась отказаться: «Да нет, давайте лучше погуляем!» — «Сегодня метель, — сурово произнёс он, и на Веру будто айсберг надвинулся, — вы простудитесь, я хочу сберечь вас».

Она запомнила этот вечер на всю жизнь. Поверх рясы она надела серую беличью шубку — её ей купила Зиновия в бутике около Красной площади, задорого. Произведение знаменитого кутюрье, последний писк столичной моды. Вера пыталась шубку не носить — Зиновия насильно надевала её на Веру. Туго завязать под подбородком апостольник, вот и вся защита от ветра и снега. Подумала, стоя перед зеркалом и чуть качаясь, и напялила высокую, как митра, лисью шапку из алмазно-блесткой чернубурки. «Звери... — подумала. — Жаль зверей». Сердце сжа-

лось, потом застучало. Когда Вера поворачивала ключ в замке, сердца в груди будто не стало: под рёбрами зияла пустота.

Она обогнула дом, впечатывая в нападавший толстым белым слоем снег узкие сапожки, и тут прогудела машина — раз, ещё раз. Вера вздрогнула и оглянулась. Водитель уже открыл дверцу, ждал её. Она хотела сесть вперёд, а потом вдруг захлопнула переднюю дверь и распахнула заднюю. Не хотела, чтобы N видел её лицо слишком близко.

Он видел её в зеркале. Улыбался. Потом мрачнел. Красивое богатое авто бесшумно скользило по широкому и тесным улицам, светящимся нежным снегом. В машине они почти не говорили. N вышел первым и подал ей руку; Вера подцепила рукой в варежке полу шубки и подол рясы и поймала насмешливый взгляд мужчины — детская варежка, диво дивное.

— Я зимой всегда ношу варежки, — прошептала Вера, а N стоял с ней рядом и сжимал её руку.

Провел на крыльцо. Сияли громадные круглые, лунные фонари. Вера поскользнулась на мраморной ступеньке. N поймал её, когда она уже падала.

— Вы фарфоровая и можете разбиться.

— Я? — Вера задохнулась от негодования.

— Честно. Я всё время за вас боюсь.

— Я монахиня, умею трудиться и могу постоять за себя.

— О, да вы почти что солдат. Вам легко будет воевать.

Они уже входили в стеклянное, зеркальное фойе. Он снял с неё шубку так, будто снимал платье. В зеркале она видела своё потное, залитое банно-вишнёвым стыдом лицо. Стояла столбом, не знала, куда и зачем идти, и N взял её под локоть крепко и больно и повёл вперёд.

В огромном, будто тронном зале стояли столы из карельской берёзы, полированные столешницы отбрасывали на лица гостей золотой свет. N указал на свободный столик у окна.

— Садитесь. Я заказал.

Сели, подбежала официантка, узнала N, угодливо склонилась, разулыбалась, как на карнавале. У официантки на худом лице торчали толстые губы — толще двух сложенных бананов.

— Вот меню! Выбирайте! Что будете на первое? Салатики у нас вкусные!

Вера сидела с каменным лицом. N выбрал всё сам, не тревожил её.

И все же спросил, осторожно и строго:

— Почему вы молчите?

Вера молчала.

— Почему вы всё время молчите?!

— Не всё, — сказала Вера, — я иногда и говорю.

Он скрипнул зубами и натужно улыбнулся.

— И пою, — добавила Вера.

Он взорвался:

— О да! Поёте! Ещё как поёте! Без умолку! Тут вам рот не заткнёшь!

На их столик оглядывались.

Включили тихую нежную музыку. Музыка заливала горящие внутренности тёплым молоком. Омывала склонённые друг к другу головы, в ней тонули глаза и пальцы.

— Это поёт Зиновия... Нет...

— Да!.. Это мы поём.

N прислушался:

— Да. Это вы поёте. Вы поёте так, что мне хочется взорвать мир.

— Вы и без меня... без нас... его взорвёте.

— Зачем вы играете в монашку?

— Я не играю. Я монахиня в миру.

— Ишь! — Он дёрнул головой вбок. — Я вам не верю!

Вера пожала плечами.

— Я не расстрига. У меня есть постриг и есть обязанности; для меня весь мир теперь — монастырь. И мои послушания в миру — они такие же, как если б я жила в монастыре. И, может... — она помедлила, — я туда ещё вернусь.

— Чёрт подери! — громко крикнул N. Опомнился. Вытер потное лицо ладонью снизу вверх, от губ до лба. — Жарко здесь!

— Да, не холодно.

— Как вы говорите со мной!

Официантка подскочила с подносом, расставляла на столе кушанья, бормотала:

— Два салатика с тигровыми креветками, зернистая икра, так... арманьяк... бастурма турецкая... вот бокальчики... бокальчики...

— А как нужно, чтобы я говорила? Есть правила?

N сжал пальцами подбрившие виски.

— Ну что вы как неживая!

Вера отвернула лицо. Слезы подступили внезапно и щедро. Она не хотела, чтобы он видел, как она плачет. Он всё равно видел это. Слезы крупно, быстро катились по щекам, шее за воротник.

— Я сейчас уйду, — прошептала она сквозь слёзы, беззвучно.

Н схватил её руку и поцеловал. На её запястье отпечатались его зубы.

— Я не дрессируюсь, — шептала Вера сквозь рыдания, — я не ручная.

Он выпустил её руку. Глядел в окно. По густо-синему, уже сине-чёрному московскому вечеру разудало плясала пьяная белокосая метель.

Когда он повернулся к ней, она увидела: его лицо медленно плывет к ней над столом, как охваченная огнем безжизненная планета.

— Давайте бросим всю эту чепуху. Страдать и прочее. Я вас позвал не для того, чтобы ахать тут и ручки вам целовать! Нет. Слушайте. Всё серьезней, чем вы думаете... Певица... Монашка! — Н изогнул рот в мгновенной усмешке. — Они распускают обманные слухи. По всему миру!.. Что у нас ракеты давно умерли, состояние их ужасно. И они не смогут долететь, если вдруг что. Взорвутся прямо в шахтах. Они кричат... Слушайте!.. Просто вопят!.. Во весь голос орут... что мы заложили во все страны мира ядерные бомбы и, когда надо, мы прикинемся любыми террористами и взорвём их. Песни и пляски смерти, мать их!.. О, простите, монашка. Вы же не переносите крепких словечек. А если я закурю? Вы вытерпите табачный дым? Только честно!

Вера наклонилась и вытерла мокрое солёное лицо подолом рясы.

— Что вы, вот же салфетки.

— Вытерплю. Курите на здоровье.

Она видела его руки, когда он щёлкал колёсиком зажигалки. Пальцы дрожали.

— Они врут, говорят гадости! Гадость на гадости сидит и гадостью погоняет! Столько злобы... это чудовищно! И эта злоба — нам, все подарки, весь змеиный яд — нам. Кричат: эти заранее подложенные бомбы начнут взрываться, а мы тем временем нападём на Латвию!.. на Литву!.. на Эстонию!.. на Молдову!.. на Украину!.. на...

Вера взяла салфетку, глядела прямо в лицо Н и медленно рвала салфетку, разрывала на мелкие части.

— Они кричат: вы обеднели! У вас нет денег! Промышленность ваша помирает! Торговлю мы вам перекрываем! А потом кричат сами себе: «Ребята, что мы теряемся! Хватит сюсюкать со злодеем! Россия — злодей! А кто-то должен взять топор и злодея — зарубить! Чего мы боимся?! Ядерной зимы?! Потеплее оденемся! Не так страшен чёрт, как его малютки! Все равно Россия гибнет! Гибнет, собака! Умирает под забором!» — Н схватил руку Веры и сжал до кости. — Распад! Тление! Они говорят... что мы гниём... разлагаемся...

Вера глядела прямо и мёртво, глаза её остановились, как у сомнамбулы.

— Мы, видите ли, Вера, мы — новые фашисты. И нам, новым фашистам, нужна новая война. Так они вопят, именно так. Мы хотим большой крови. Да, чтобы всюду лилась кровь. И не только. Чтобы всё погибало в огне и надыхалось радиацией под завязку. И вся Земля стала — зоной! Наши люмпены их беспокоят. Наша беднота! Вопят: вы скоро начнёте убивать и жрать друг друга! Именно поэтому вы строите полицейское государство! Да, так вопят, так, так...

Вера не шевелилась.

— Да вы ешьте, ешьте! — зло шепнул Н Вере. — Вы же голодная!

— Я мяса не ем. Пост. — Она еле разжала губы.

— Проклятье! Ваш пост, пост! Всегда! Завтра мы все умрём. И вы вволюшку не поедите уже! Никогда! Вы хоть понимаете, что значит «никогда»?!

Вера взяла вилку в руку, нож — в другую.

— А вы?

Отрезала от листа салата зелёный кусок, жевала, как корова. И опять глаза светло, твёрдо замерзали подо лбом.

— Я — понимаю! — горько усмехнулся, опять рот кривил. — Я вот знаю, что я с вами — никогда... Ну и что? Я же — живу! А вот Земли не будет никогда — это уже хуже. Я их ненавижу.

— Кого?

Вера держала вилку, как скорпиона. Н склонился над салатом и быстро, зверино пожирал его, будто век не ел. Остро взглядывал на Веру.

— Не притворяйтесь. Всё вы понимаете. Ненавижу этих лгунов! Лжецов. Обратней! Кто сам хочет войны, а желанье её развязать валит на нас. Котик сливочки слизал и на Машеньку сказал!

Она вздрогнула:

— Мне эту песню мама пела.

— А! Мама! Отлично. — Вытер рот салфеткой. — Матери, дети — все погибнут! Какая ерунда! Думать, что кто-то выживет в такой войне! Идиоты. Дряни! Я их всех сам убью. Вычислю, найду по одиночке. Я — сам — террористом сделаюсь, чтобы эту мразь... с лица земли... — Вскинулся. — Да если надо... да если надо!.. их, гадов, дряней, перебить!.. я сам — войну развяжу! Страшную! Мало им не покажется. Ненавижу! Нена...

Официантка подскочила, поправляла кудри за ушами.

— Вы звали меня?.. Вот она я!..

— Нет! Не звал! Да! Звал! Несите первое! Грибной суп с телятиной. И второе сразу! Да, жаркое! И форель в белом вине! Сразу, я сказал!

Вера подняла руку ладонью вперёд.

— Стойте! Не надо.

— Что — не надо?

— Ничего не надо. Я ничего не хочу. Это выброшенные деньги.

— Деньги?! — N встал, резко двинув стулом об пол. — Вы — о деньгах?! Мне?!

— Сядьте... Что вы!..

N, будто пьяный, рванул из кармана смокинга бумажник. Высыпал деньги на мясной мрамор плит. Швырял в стороны. Хохотал, блеснул зубами и белками. Официантки сбились в кучку, глядели обалдело, тряслись. Люди за соседними столиками возмущённо переглядывались. Кое-кто прижимал палец к губам: N узнавали.

— Ну же! Ну! Налетай! Подбирай! А на счетах-то у меня сколько! На счетах! Не счесть! Я и сам не знаю! А война будет — ничего не будет! Ничего! Ничего!

— Сядьте, — уже твёрдо, возвысив голос, сказала Вера.

N сел.

Официантки подбирали деньги, несли их к их столику, клали рядом с тарелками. N не смотрел на деньги. Он смотрел на Веру.

— Почему вы так ненавидите людей?

— Я? — На N будто дыбом встала шерсть. — Это они — ненавидят нас! Это я — в ответ!

— Ответная ненависть множит ненависть. Это закон.

— Ишь, законница!

Он тяжело дышал.

За соседним столиком хохотали и пели песню Зиновии и Веры.

«Они и не знают, что я тут, рядом с ними, сижу. А может, это не я. А маска меня, личина вместо меня. Тело, руки, ноги. А где душа? А и нету души. Тихо из мира уходи. Звезду туши».

На маленькой сцене вздёргивали ногами девочки из варьете. Когда они прекратили плясать, вышел человек в туго обтягивающем тело костюме, обклеенном блёстками, с огромным ручным питоном. Питон обвивал грудь дрессировщика, раскрывал пасть и высовывал язык. Посетители косились на человека и змею, кто-то громко захотал, кто-то тонко завизжал и оборвал визг. Вера молча смотрела на человека, на питона у него на груди. «Валя», — прошептала тихо. Змея обвила человеку шею, и казалось, что это громадный пятнистый воротник. Раздались аплодисменты и крики: «Браво, маэстро!»

— Вы любите мир?

— Какой прямой вопрос! — N сморщился. — Кто ж его не любит!

— А войну — любите?

— Глупостей не говорите. Кто же любит войну! Правда, все дети играют в войну. Всегда. Это природа. Человек должен убивать. Или — готовиться убивать. Лучшие солдаты — лучшие люди. Самые честные, благородные. Творческие. В дворянских семьях детей всегда выучивали на военных. Это было правило. А Красная армия? Она же всех сильнее. Да! Сильней! А все слабаки. На параде Седьмого ноября тридцать второго года на Красной площади Сталин пустил по брусчатке пятьсот танков! Новейшей модели. Мы — сильнее всех! Это истина. Не спорить! Цыц! Вы слышите — не спорить!

— Я и не спорю, — Вера тихо улыбнулась.

Кожа на лбу N подрагивала.

— Как хорошо — вы улыбаетесь. Вы меня не ненавидите?

— Нет. Вы сами себя ненавидите.

— Что вы порете чушь!

— Всё остыло.

Вера указала на яства.

— К чёрту эту жратву. Вы поняли, зачем я вас позвал?

— Да. Чтобы сказать, что первыми войну развяжете вы.

— Кто это «вы»?

— А кто тогда мы?

— Что вы мне тут...

Вера сама взяла графин с коньяком и сама налила коньяк себе в бокал. А N — не налила.

— Вы — любите — войну.

N смотрел на Веру исподлобья, изумлённо.

— Ну... да. Да, да! Подавитесь этой моей любовью! Вы раскусили меня. Да я и не скрываю этого. Того, что война — это свято! Мы победили в последней войне. Самой страшной. Победа эта дорогого стоит. Кровью заплатили. Трупам и родину, и Европу устлали. Поднялось государство, да, понятно, что против Гитлера страна поднялась, но страна — это ведь народ... Да, поднялся народ, как один все люди поднялись на врага, и что? Народ, он и велик тем, что побеждает. Ну вы, святая, монашка, гляньте на ваши иконы! На Георгия Победоносца! Змеюку копьём колет, убивает. Зло — убивает! А вы что, хотите зло навек оставить жить на свете? Взлелеять?! Грудью хотите зло выкормить? Не выйдет! Да не только у нашего народа так. У всех народов так! Все народы — идут к победе и за победой! Ах да, вы, монашка, скажете: вражда, вражда, это от дьявола! Да не от дьявола это! От Бога. Война — Богом придумана! Так на свете положено, чтобы — война! Я, солдат, иду за своим генералом! Я беру оружие в руки и иду, так заведено! Так — было всегда! И будет всегда!

— После будущей войны — не будет больше никогда, — жёстко, сухо сказала Вера.

— Война, а в ней победа, это право на жизнь. На жизнь! Война — это не смерть, а жизнь. Да, что вы так пялитесь на меня! Жизнь! Самая настоящая. Война — это новая наша земля. Завоеванная. Это люди, они на этой новой земле селятся, вспахивают её, засеивают и говорят, живя на ней, на своем языке. Язык — народ! Вот — жизнь! И хороводы водят, и песни поют! И баб в постели свои кладут, и детей зачинают и рожают. Жизнь, а что другое?! Да даже для того, чтобы картошку в золе испечь или рыбы в реке надергать и уху сварить, земля нужна, где картошку ту — вырастят и рыбу ту — изловят! Земля! Своя! Завоёванная. Или — отвоёванная! Другого пути сделать землю своей — нет! Ну ведь бьются мужики — за бабу! А за вас, монашка... мне даже не с кем побиться...

Вера слушала. Молчала.

И N спешил говорить, выговориться.

— Война! Вы морщитесь: фу, война! Войнуш-

ка! Опять война! Кому война, а кому мать родна. Вы только прикидываетесь вселюбящей. На самом деле вы тоже ненавидите. Вы ненавидите войну! Она для вас как ядовитая гадюка. Такой ядерный гад. И ползёт, подползает. И вам надо раздавить его сапогом. А чтобы не укусил. Ну ведь так? Да? Так где вы тот сапог возьмёте? Или тот булыжник, которым гада того — скорей прихлопнуть? А! Да! Правильно! В руку камень-то возьмёте! И — занесёте, и опустите. И — убьёте! Да, да, убьёте, вы, умоленная, вы, миролюбка! Кто кого! Или вас убьют, или вы убьёте! Так мир устроен. И, чтобы вам — жить, вы — убьёте. Вот — война! её смысл! И что? Обвинить её? Оправдать? Встать, суд идёт! Сто, тысячу раз в истории уже судили войну! А она неподсудна. Всё никак её не засудишь, в тюрьму не посадишь! Или... стойте!.. Вы дадите змее той ядовитой — себя — укусить? И не шевельнётесь? Во имя жизни чужой гадины — себя — убьёте, а её — не убьёте?

Вера поднесла бокал ко рту. Прикоснулась к нему губами. Её глаза опять налились слезами.

— Не знаю.

— Видите! Вы — уже — не знаете! А, проняло! Проняло вас! И монашку проняло! А война, ведь она такая разная! Разномастная! Сто лиц у неё! Сто масок! Одну сдёрнет, под ней вторая. Война, она лепит людей! Делает их! Рождает. Там люди — становятся людьми! Дымы, пожарища, выстрелы... И ты должен быстро сделать выбор. Жертва ты? Или герой? А может, ты подлец? Оборотень? Зверь ты чудовищный, сучонок, пожиратель падали? Предатель ты и из окопа своего в окоп врага ползёшь, чтобы ему все наши планы выдать, все наши карты и позиции... Война, в одном котле жизнь и смерть... и это такой восторг! Вы, монашка... вы даже не представляете себе, как сладко жить, когда вокруг тебя пули свистят и всё пылает! Ты жив — в сердцевине смерти. И это такое чувство, такое... Полнокровнее него я ничего не знаю! Может, если бы младенец вспомнил, как он рождался, шёл на свет головкою вперёд, в крови, ужасе и тьме, и адской боли, и лютом страхе, и мог бы человек взрослый, жизнь проживший, об этом чувстве вспомнить, рассказать про страшные роды, — вот это, наверное, сравнимо с войной. Мы — посреди войны — рождаемся! Мы — все — дети войны! Вы понимаете это, монашка вы благодная?! А! вам

бы автомат Калашникова в руки! Базуку! Да просто — связку гранат! И приказ бы у вас над ухом: брось те гранаты под танк, да и сама бросься, ведь этот танк сейчас надвинется на твоё село, подомнёт под гусеницы стальные, колючие твой родной дом и расстреляет твоих детей, твоих стариков! Ну?! — командир тебе крикнет. Что ж ты ждёшь?! Давай!..

Н рубанул рукой воздух.

— А вы сами — на войне были? — Голос Веры был тише шевеленья водорослей под водой.

Н осел, обмяк. Молчал.

Молчал долго. Вера допила коньяк из бокала. С удивлением глядела на пустой бокал. Двумя пальцами взяла розовое брюшко креветки, подхватила губами. Н смотрел на её губы.

— Да. Юношей — в Афгане. Потом — в Чечне. Недавно — в Сирии.

— А на Донбассе?

— Донбасс пусть воюет без меня, — усмехнулся. — Вру, вру я всё вам. И там — был. Недолго. Здесь у меня дела.

— Я догадываюсь.

— Вы... — мышцы его лица напряглись, и кожа на лице мгновенно расчертилась странными морщинами, письменами лёгкого презрения. — Вы женщина и монашка, вы не можете даже догадываться какие... То, что я на виду у всей страны, ещё ничего не значит. Мы с вами вот сидим в обыкновенном ресторане, да нет, правда, в очень хорошем ресторане, на всю Москву он славится, и я...

Вере надоело слушать про ресторан. Она невежливо перебила Н:

— И что? Война — по-вашему если, так выходит — лучшее, высшее состояние человечества? И — человека?

Н прямо, нагло смотрел ей в глаза светлыми, ледяными глазами.

— Да. Это так.

— Но ведь это ужасно. Это против Бога, — тихо сказала Вера.

Н рассмеялся. Смех его раскатился звоном разбитого ледяного хрусталя.

— Бог? Бог-то как раз и положил на земле всё так, как оно есть! Это порядок вещей. Люди воюют, так Бог сделал. А Он, как вы-то думаете, Он — что, глуп? Он — мудрее всех нас! И прошлых, и будущих! А мы лишь исполняем Его волю.

— А вы не думаете, Н, — она назвала его по имени-отчеству, — что мы исполняем не Его волю?

— А чью?

— Вам сказать чью?

— Ну, скажите!

Не глядя, он цапнул графин и щедро плеснул себе в бокал коньяку.

— Дьявола.

— Дьявол! Дьявола! Ах! — Он опрокинул в рот весь бокал, проглотил коньяк как водку. — Да что вы говорите! А вы откуда знаете? С дьяволом общались?

— Да. Я видела его. И говорила с ним.

— Ну и... — Н, как она давеча, подцепил пальцами креветку из салата, медленно жевал. Его радужки ледяно и зло горели. — Каков он, ваш дьявол?

— Он — это я сама. Он во всех нас.

Н по-мальчишески присвистнул.

— Эка куда хватили! И во мне, что, тоже?

— И в вас.

— Где же тогда Бог? Гуляет?

— И Бог в нас.

— Оба, что ли, в нас?

— Да.

— Тогда... — Искал глазами воду: пить хотел. Щёлкнул пальцами. — Если они оба в нас, тогда — кто же мы такие? А?

Вера молчала и глядела на него.

Он ей в лицо бросил:

— Вы похожи на икону! Ешьте больше! Вы красивая, зачем вы изнуряете себя?

— Зачем вы нарочно грубы со мной? — спросила Вера почти шёпотом. — Зачем вы злитесь, кричите? Про войну я всё поняла. А вы — поняли? Зачем эта злоба? Вы же сами с собой воюете.

— С дьяволом! — ухмыльнулся Н.

Потом опал, съёжился — тестом, в которое ткнули пальцем.

— Вы заставили меня думать. Я буду думать.

— О чём? О войне?

— Да.

— Хорошо. — Он вскинулся. — А вы?! Да, вот вы! Вам бы — хоть разик, разочек побывать на войне! Тогда бы вы мне проповедей не читали. Чтобы вас волокли бы после разрыва снаряда в окоп! Под мышки бы подхватили, тащили по грязи. А кругом — земля чёрными веерами! И глохнешь, глохнешь от взрывов! И свалили бы

вас в окоп, а сверху — опять разрыв, и засыпало бы вас землёй... и стряхивали бы её с лица, со щёк, глаза, землей залепленные, открывали... а уши болят зверски, контузило, и кровь из носа течёт, из ушей, и рукой вытираетесь, и плачете. Да, плачете! Потому что не мы побеждаем, а на нас враг насадет! И, может, сейчас мы все тут сдохнем разом и не успеем нашу землю защитить! А, скажете, а если не нашу?! Да плевать чью! Враг есть враг! Врага — уничтожить! И весь сказ! Тут не до философий! Не до жалости. И предатель от нас, Иуда, уже по полз в блиндаж врага! Нас — предавать! Так надо врага раздолбать во что бы то ни стало. Пусть все мы погибнем — а наших людей, нашу землю — спасем! И ты не будешь думать, станешь или нет героем. Ты должен быть героем! Быть героем — это твоя работа. Она прекрасна. Прекраснее всех других работ на земле. Вот — война!

— Война, — эхом повторила Вера.

— Ты убиваешь, чтобы защитить жизнь. И вы не нюхали этого чувства. И вряд ли понюхаете. На войне вы не будете перевязывать солдат. Стрелять из пулемета, из огнемета. Вы будете, как серенький зайчишка, прятаться в подвале, на дне руин. А впрочем, может, и будете воевать! И спасать! Вы же монашка. Вы же обязаны спасать!

— Спасать...

— Что вы как попугай!.. Давайте выпьем. И закусим. Почему вы ничего не едите?

— Я... ем.

— Враньё! Я же вижу. Девушка! — Он опять щелкнул пальцами, подзывая официантку. Официантка подбежала, шаталась на каблучках-шпильках, растягивала в улыбке густо накрашенный рот. — А жаркое наше где?!

— Я не буду, спасибо, — мотала головой Вера.

— Пост! Пост! Опять пост. У вас всегда пост!

— Хватит, — сказала Вера.

— Что — хватит?

— Хватит клоунады. Будьте самим собой.

Н застыл и так сидел минуту, две, больше. Красногубая официантка принесла дымящееся мясо. Н отодвинул от себя тарелку.

— Как вы, так и я. — Он протянул руку по столу и взял её руку. Сжал. — Я хочу, как вы. Я ничего не знаю. Я буду думать про войну. Но и вы подумайте. Чтобы нас не убили, первыми должны

убить мы. А по Богу вашему, по Его заветам, что, мы должны быть жертвой и не рыпаться, не шевелиться, сложить ручки на груди, закрыть глаза и приготовиться к удару? Слишком большая жертва-то, такая наша огромная земля!

Вера едва слышно ответила на его пожатие.

Он улыбнулся.

— Спасибо. А я думал, вы вообще мертвец.

— Почему?

— Как все верующие.

— А вы сами — веруете в Бога?

— Да. Нет! Я сам не знаю. Я крещёный! Православный! У меня над постелью... образок Николы Угодника висит...

Помолчал.

— А бабушка у меня — мусульманка была... татарка...

Сидели, сжав руки. Вокруг них вспыхивал пьяными огнями, мерцал, двигался и плыл, вздыхал и выпивал, и бил посуду, и засыпал, и буянил ресторан, и улыбался во весь рот, и блеснул голыми плечами и нитками поддельных жемчугов, и пел, и мычал, и звучал, и утихал, и гас, и опять вспыхивал, взрывался, и автоматные очереди били, и трассирующие пули летели огненными зёрнами, и воздух накалялся и остывал, и разворачивались смоляные веера подземной, гробовой грязи, и пахло дёгтем и солёной кровью, и война глядела им обоим в лица, и красные, волчьи зрачки её расширялись, и на красное их дно валились города и страны; а они глядели друг на друга; и Вера понимала — да, это любовь, это настоящая любовь, такой на мирной земле не бывает, значит, она тоже на войне, и надо его, раненого, перевязать и спасти, а бинта нет, и марли нет, и спирта тоже, есть очень дорогой коньяк, и он просит пить, и надо дать ему пить, из кружки, а кружки тоже нет, ну, значит, из рук, из сложенных черпаком ладоней, вот так, так, пей, мой соболёнок, волчонок мой, мой — человек: встреченный в жизни, полюбленный в смерти — да, так бывает, и что...

Из руки в руку перетекало пьяное счастье. Чужие люди кругом гомонили. Война взрывала время. Наступил миг, и война убила время, и оно упало, раскинув руки, лежало в луже собственной крови, и смотрело в небо ледяными глазами, и остановилось.

\* \* \*

Зиновия заявила Вере, в счастливом смехе показывая все слепящие-белые, снеговые, нарочно для сцены сработанные зубы: «Мы с N уезжаем немного отдохнуть. Ты тут, Верочка, последи за домом! Ты тут у меня, — Зиновия покровительственно приобняла Веру за жёстко торчащее под чёрным сукном плечо, — почти мать-игуменья!» Вера чуть не дёрнула плечом, чтобы стряхнуть руку Зиновии, но спохватилась, устыдилась: «Конечно, я послежу. Похозяйствую».

Зиновия и N укатили. Куда? Вере было всё равно. Она не думала о них. Мыла посуду, писала песни. Только тусклая, неясная тоска, будто под рёбрами тихо горел, мигая, угасающий лампадный огонь, томила её. Умиравший огонь ясно и безжалостно освещал всё внутри Веры, что она пыталась забыть, сама в себе замолчать. Не вытаскивать на свет памяти и молитвы.

Убитые ею в Иерусалиме люди казнящими палачами приходили к ней во снах. Она просыпалась, вытирала ладонью потный лоб, возила головой по подушке в пятнах слёз, потом вставала, умывалась холодной водой и посреди ночи сама себе служила Литургию. Чин Литургии она знала хорошо, наизусть.

Когда рассветало, она читала утреннее правило.

«От сна встав, полунощную песнь приношу Ти, Спасе, и припадая вопию Ти: не даждь ми уснути во греховней смерти, но ущедри мя, распныйся волею, и лежащаго мя в лености ускорив возстави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне нощем возсияй ми день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя...»

...Ещё ночь. Спать невмочь.

...Чья — дочь?.. Что — смочь?..

...Кто там за дверью... Кто — в углу...

...Боже мой, Боже, страшиться негоже...

Спать на голом полу...

...свернуться коломком... застыть снежным комком...

...Этот страх... он мне ещё незнаком...

...И вдруг резко, громко в дверь и правда постучали.

Стучали! А звонок?!

Её комната находилась близко ко входу в роскошное Зиновьино жилище.

Ещё стук; резкий; грохот и гром. Били в дверь ногой. Возможно, в сапоге.

«Сейчас высадят. И ворвутся. Что я скажу Зиновии? Я одна. Никого».

Горничная не ночевала.

Вера быстро прошла к двери спальни, вышла в коридор и подошла к обитой синей кожей двери. Наблюдательный глазок мерцал тусклым жемчужком. Вера никогда не смотрела в трусливый глазок. Она просто открывала дверь.

«Не надо! Стой! Молчи! Слушай! Это ночь! Опасность!»

На диво легко и пусто звенело в груди. Музыка пустоты.

— Вера! Не бойся. Это я. Открой!

Руки сами отомкнули замок. Дверь сама распахнулась.

А Вера будто стояла недвижно и ничего не делала.

Вошёл N. На нём лица не было.

— Здравствуйте, N, — сказала Вера.

N не поздоровался с ней. Ему не до этого было.

— Вера! За мной гонятся. На меня в санатории напали. Эти люди гонятся за мной! Я обманул их. Я спрячусь у тебя? — он назвал её на «ты».

— Где Зиновия?

— Там... — махнул рукой во тьму.

Вера отступила на шаг:

— Проходите.

Он быстро прошёл в раскрытую дверь. Эта комната была Вериной спальней. Вера вошла в спальню следом за ним.

\* \* \*

Зачем я — красный крест, а ты — чёрный? Существует бумага, есть дрова и уголь, есть вата и мягкие тряпки, немая жалкая одежда — всё это можно сжечь в огне. И человека можно сжечь. Или живого, или труп. В Освенциме и в других лагерях смерти сжигали людей. Ты же не хочешь сгореть в последнем огне? Вот и я не хочу.

Обнимал сначала воздух. Пустой воздух. Ему казалось, он обнимает её. Он и она — одно. Муж и жена одна сатана, а мы разве сатана? Разве всё так пошло и жутко? Дико? Потом руки обратились в чугун и мощно и тяжело переплелись; двойная чёрная тяжёлая скульптура стояла на краю белой пустыни, где одни сугробы и гробы —

больше ничего. И тебя, умершего от любви, даже не похоронят. Никто и не подступится к тебе. Ибо страшно и прекрасно твоё искажённое любовью лицо. Оно — преображение. Ты уже преображенный, так стой и молчи.

...А разве я стою?.. Я — лечу... лежу...

Зачем я — чёрный крест, а ты — красный? Всё напрасно. Слишком много брать на себя не надо. Нацепят кровавую награду: вечную отраду. Зачем ты бормочешь стихами? Зачем не обнимешь? Кто стоит между нами?

...Чугун растаял и рассыпался. Они вдыхали запах друг друга; и только лишь запах, больше ничего, ни движения, ни жеста. Мягче теста губы, твёрже стали живот. Никто никогда не умрёт? Ещё как умрёт. Ещё как оживёт. Мы сегодня — народ. Мы, двое, внутри снежного воя. Волки бегут над головою в небесах, в широком, как степь, как тайга твоя, чёрном окне. Белый крест рамы. Помолись обо мне.

...Жалельщица... молельщица... Это ты так меня жалеешь... да не нужна мне такая жалкая жалость...

...Господи, как же ты сильно ко мне прижалась...

...Зачем всё... зачем так?..

...Я бедная... и ты бедняк... Ты только врешь, что ты сильный, богатый...

...Да, вру. Да! Я чёрный крест, навек на тебе распятый.

Земля и небо поменялись местами. Двое, лёжа, летели — или пели? Бежали? Друг друга удерживали на земле, держали? На полу — на кровати — на нарах — на полотах — на больничном матрасе — в рыбацкой лодке — а век-то какой короткий. Не успеешь оглянуться — закроешь глаза. Целовать нельзя. Только это и нужно, и можно — это одно: в жизни кричащей, осторожной. Осторожно. Это наша с тобой тишина. Пустота.

...Горит моя икона в Божьей печи. Плыает. Кровью-золотом тает. От креста до Креста.

\* \* \*

**И** загрохотали в дверь так оглушительно, что оба вскочили, держась крепко друг за друга, будто плыли на плоту через енисейский порог, и камни вздёргивали плот на мокрые

копья и скользкие пики, и оба тонули и кричали беззвучно!

— Вера! Они!

Она озиралась. Всё надо было делать быстро; и думать быстро.

А лучше не думать.

Цапнула, потащила с кровати простыню. Схватила со стола ножницы. Кромсала простыню, вязала белые ленты в узлы. Рвала простыню, вцепляясь в ткань зубами. Сильные руки сами рвали.

Н поздно понял. Но — понял.

— Вера!..

— Открывай окно!

Дёрнул на себя оконные створки. Оба глянули в ночь и тьму. Здесь над землёй было высоко. Этажи оба не считали. Забыли. Не хотели знать.

Оба, задыхаясь, вязали узлы.

— Хватит?! До земли?!

— Да!

— А не хватит?!

— Тогда прыгнешь!

— Да!

Он соглашался с ней. Глаза его сияли.

И её глаза тоже во тьме сияли.

Он перекинул самодельный тряпичный канат вниз, в окно. Крепко привязал конец к батарее.

Вера крикнула:

— Скорей!

В дверь ломались.

Н хотел обнять Веру. Она отступила на шаг. Он усмехнулся, его зубы сверкнули во мраке многоглазой, шевелящейся дикими огнями ночи.

— Ты...

Она сама обняла и поцеловала его.

Дверь выставили. Грохот в прихожей, будто дом рушится.

Н уже стоял на подоконнике.

Вера смотрела, как он скользит вниз по канату, наспех связанному из рваных простыней, обдирая ладони в кровь. Она держалась обеими руками за конец каната, привязанный к вентилю батареи, будто жалкая тряпка уже отрывалась, а надо было удержать её изо всех последних сил.

...Чужие люди ворвались. Кричали. Хватали её за плечи, трясли, орали на неё. Хотели вытрясти из неё правду. Люди выхватывали блестевшее во тьме оружие, потрясали им и угрожали Вере. Она не смотрела на орудия смерти. Она улыбалась

людям. Грех, что она совершила только что, так недавно вкусила, жадно и странно, она это знала, не повторится. Он ей сейчас, из сердцевины чужого крика, грехом не казался.

Она благословляла его.

...Зачем вы кричите на меня? Бьёте меня? Это всё напрасно. Он ушёл. Убежал. Вы не догоните его.

\* \* \*

*Я помогу тебе бежать. Я лестницу свяжу  
Из рваных простыней. Её — руками подержу  
В окне, пока ты из окна — как бы паук!.. — по ней...  
А с факелами уж бегут... О... тысяча огней...  
Быстрее лезь!.. Я не хочу глядеть: тебя убьёт  
Твой враг. Твоя коса тебя между лопаток бьёт.  
Богато ты одет: хитон смарагдами расшит...  
Рот поцелуями спалён... лоб — думами изрыт...  
Видал ты виды... Прыгай вниз!..*

*Твои враги пришли!..*

*Пускай они убьют меня. Здесь близко от земли.  
Я уцепилась за карниз... я на тебя смотрю...  
Ты золотой, летящий лист... Тебя — благодарю...*

*Ну, что вы пялитесь, да, вы, — солдаты за обол?!..  
Ушёл, не дав вам головы. Ушёл мужик! Ушёл!  
Ушёл! Убёг! Вон! По снегам! Через заборы все!  
И вышки все! Через собак! Их вой — во всей красе!  
Через тراسсирующих пуль огнистые ручьи!  
И чёрный, до зубов, патруль вооружённый!  
...И*

*Через поёмные луга, через буреполом  
И ругань поварихи над нечищеным котлом  
Тюремным, где свекла-морква, очистки и мазут,  
Где мать-воля сожжена, а смерть — не доведут  
В телеге... лишь морковь-картошь... —*

*через такую тьму,*

*Где фонарями — только кровь горит, смеясь,  
в дыму!*

*Где ветром скалится барак!*

*Где ест мальчонка грязь!*

*Где проклинаят нищ и наг вождей великих власть...*

*И на свободе он уже — на счастье он уже  
На облачном, заречном том, небесном рубеже...  
Ушёл от вас! И весь тут сказ. Солдат, меня вяжи!  
Как я пятой — под пулей — в пляс —  
врун, правду расскажи.*

\* \* \*

Зиновия вернулась из санатория, где они отдышали с N, молчаливая и подавленная. Она наверняка знала, что произошло. Вера ни о чём не расспрашивала Зиновию. Зиновия ни о чём не расспрашивала Веру. Вера вспоминала, что говорил ей N, эти его слова врезались в неё намертво, как позолота имени — на могильной плите.

Она слышала его голос внутри. Это была иная музыка. Военная. Скорбный марш.

Далёкая — звуками — клятва.

В чём? Опять в любви?

\* \* \*

Страна может разрушиться. И умереть. Как человек. Заболевает всё, неизлечимо заболевает. Старится всё. Смертно всё. Любое живое существо, а значит, и общество, что состоит из всех нас, живых существ. Почему мы умрём? От утери любви. Да, Вера, да. И от потери совести. Мы потеряем совесть. У нас вырежут её острым скальпелем, как гнилой аппендикс, вырвут из нас и выбросят. На помойку.

...Ну что ты на меня так смотришь? Не смотри так. Ты слишком серьёзна. А смотри, как веселы мальчишки и девчонки. Они бессовестны. У них совести нет. Они готовы только жрать и использовать, но они не хотят давать и заботиться. Они не желают — трудиться. Я говорю тебе: война, да! Страшно! Но пустота вместо совести страшнее войны.

...Да, да, Вера, да, радуйся, это я про гибель Бога. Его распинают в очередной раз. Не распиная. Не хотят трудиться: распятие — это тоже труд. Зачем трудиться, когда можно плевать в потолок? День прошёл — и ладно. А кормёжка? Кто меня покормит? А, другие! У них есть деньги на мою еду, питьё, катание в повозках, развлечения, алкоголь и курево. Другие! Родители, супруги, друзья, а если нет близких людей, я пойду на улицу и убью чужого. И ограблю. И снова у меня будут деньги, и я буду есть и пить. Убийство? Вы говорите, это плохо? Да ничуть! Это нормально. Ведь трудиться не надо. Одно движение. Так всё просто.

Одно движение ножом, стволом — вместо месяцев и лет изнурительной работы.

...Кормить... поить... учить... лечить... возить... принимать на руки младенцев... хоронить... наказывать... награждать... Кто будет делать это всё? Нет, Вера, ты только вдумайся: кто будет это всё делать?! Молчишь... О Боге своём думаешь... А может, я вот это все говорю сейчас тебе, а ты сидишь, молчишь и про себя молитву читаешь...

Я занимаюсь войной. Это значит, Вера, и миром. Мир и война — две вещи совместные, как ни крути. Если выпустить из рук руль войны — мир быстро покатится к разврату, вседозволенному наслаждению, сытому довольству, пусть даже ценою гибели ближнего. Мразь, да, мразь, на сцену вылезет не певица Вера Сургут, а мелкая, подлая мразь, оборотень. Ты будешь кричать ему: «Ты чёрный!» А он будет верещать тебе в ответ: «Нет, я белый, это ты чёрный, давите чёрного гада, люди!» Ты увидишь, как он убивает, а он схватит тебя за руку, вложит тебе в руку свой окровавленный нож и заорёт: «Эй, люди, хватайте его, это он, он убил!» Зеркало... везде будет кривое зеркало. Тебе поднесут его к носу и завопят: «Гляди! Гляди! Ты хвалился, что красавец! А ты несчастный урод, обманщик и подлец!» И ничем, Вера, заметь, ничем, никаким твоим Богом ты не докажешь, что ты — не подлец, а подлец тот, кто тебя замазал грязью, затоптал и погубил.

Наше время придумало: нет движенья, всё стоит на месте. Нет конечного и бесконечного, всё безгранично и бестолково катается внутри пустого шара! Нет смысла, потому что, да, Вера, вокруг все только и кричат об этом: нет Бога! Но если нет Бога, Вера, то нет и человека! Это даже я понимаю.

...Если наступит царство оборотня, вот это и будет, Вера, твой дьявол, или как это там у вас, Антихрист. Антихрист, ну и имечко! Думаешь, это он вызовет войну? Она? А что, у него есть пол? Мужик это или баба? Да всё равно. Мне лично всё равно. Я не хочу засматривать ему в рожу. Я просто думаю: поперед всякой опустошительной, чудовищной войны на земле наступит царство твоего Антихриста, выжженной пустыни. Всё своё, всё вокруг люди сожгут не бомбами, не огнеметами. Они сожгут себя и землю бездельем и презрением. Оборотень только так и живёт. Ему важно всё перевернуть.

Так опередим его! Перевернём — мы! Перевернём его с ног на голову! Пусть постоит на голове и поорет, пощады попросит! А мы — потешимся!

Что, злой я? А ты бы как хотела, чтобы — добрый был, мягкий, как масло?!

Я мужик, я маслом не могу быть. Это вы, бабы, масляные. А мне надо трудиться. Я ещё не хочу на свалку.

Не хочу в хоровод похоти, крови, похвальбы, перевёртышей, скелетов и черепов. Зубы лязгают, кости гремят. А я — человек! Скажешь, тоже скелетом стану? Да. Стану! Но до тех пор я хочу... спасти хоть кроху, хоть щепоть живого...

...Вот ты хочешь хорошо жить? Сладко есть, вволю пить, наслаждаться, радоваться, испытывать счастье, не бояться завтра? Я — не знаю. Честно, не знаю, хочу ли! Мне важно жить, а как — уже второй вопрос, десятый. Но чёртова прорва людей хочет счастья любой ценой. И готова кровью платить и Бог знает чем, лишь бы урвать самый большой на земле счастья кусок.

И как это там у тебя, в Евангелии твоём, ты мне читала? «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал бряцающий».

Ну что сидишь, продолжай, я забыл!

«...Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы...» Пользы... да...

Нет любви, Вера. Самое страшное — нет любви! Мало нам любви! И война от этого же проистечёт. Как ни прячься от неё, ни укрывайся в убежищах. Нет любви — и все побегут вцепляться зубами, вгрызаться, тащить под брюхо, красть, а потом указывать перстом и нагло заявлять: это не я, это он украл!.. Все будут высасывать соки, присваивать, лгать, нагло врать в лицо, растаскивать сокровища, не рожать, а губить... убивать, а не любить...

...Не любить... Вера... Но я... знаешь, я не верю в это...

...Я знаю это, но я в это не верю... до конца — не верю...

...А ты... ты — веришь?

\* \* \*

**Н**исчез.

Зиновия молчала.

Она вела себя так, будто в её жизни нет и не было никогда никакого **Н**.

И Вера молчала. И даже не ждала.

\* \* \*

**И**ногда настал день — погожий он был или ненастный, это было уже всё равно, — Вера положила перед собой лист бумаги и написала **Н** письмо. Оно получилось недлинным.

«**Н**, мы то сопротивляемся друг другу, то соединяемся. Так не ведут себя люди ни в дружбе, ни в любви. Это война. Мы два человека в состоянии войны. Вы говорите, что любите меня. И пытались мне это доказать. Если бы мы оказались вместе, война бы не кончилась. И она не кончится никогда. В отличие от той, что скоро начнётся и когда-нибудь кончится. Вы думали о Боге и диаволе, но живёте ли вы в любви? Ваша такая беда: вы живёте в цепях. В кандалах, их на вас надел диавол. А может, люди. Люди тоже могут служить диаволу. Вы любил Зиновию, потом я встала у вас на пути. Вы меня захотели присвоить. А вы не умеете любить. Вы умеете только воевать. Прощайте, а может, до свиданья, не знаю. Всё-таки прощайте. Ведь начнётся война. И несчастен будет тот, кто выживет в ней. Я буду молиться за вас».

Вера не знала адреса **Н**. Он долго не звонил. Зиновия ни о чём Веру не спрашивала. Потом **Н** пришёл домой к Зиновии. Без предупреждения. Вера открыла дверь. **Н** не перешагивал порог. Глядел на Веру волчьими глазами. Так глядят перед расстрелом. Вера подняла руку ладонью вперёд: подождите! — и ушла в комнату. Ряса её шуршала, чёрным мешком мела паркет. Потом она вышла и через порог протянула **Н** сложенный вчетверо лист бумаги. Он взял, низко поклонился и ушёл.

\* \* \*

— **С**пасибо тебе за всё. Я вернусь в монастырь.

— В Иерусалим?

Вера погладила лежащий на столе кирпич ржаного хлеба, как живого домашнего зверя.

— Вернусь. Только не в Иерусалим. Иерусалим — везде. Он всюду. Он такой же земной, как и Небесный. И я... Зиновия, знаешь... я... пойду, пойду... пойду... и пойду. И приду в Сибирь. И там сделаю свой монастырь. Соберутся люди вокруг меня! Соберутся, я верю! И будем там молиться, плакать за всех, лечить всех, любить.

Зиновия держала на руках белого подростшего котёнка. Чесала его за ухом. Котёнок мяукнул, Зиновия сердито сбросила его с колен.

— Лечить... Любить... А ты будешь там петь?

— Буду.

— И наши песни?

Вера вздохнула:

— Это мирские песни, Зиновия.

— И даже «Молитва»? Даже она?

Вера молчала.

Зиновия щипала кружево рукава, будто гитарную струну.

— Что молчишь?

Котёнок мяукал: есть просил.

— Хочу... и молчу. — Вера устыдилась. — Прости меня, Зина.

— Бог твой простит!

Зиновия встала и подошла к окну. Глядела на снег: он медленно падал со страшно, фосфорно светящихся над огромным городом туманных небес.

Облака бродили по небу — слепые призраки несбывшегося.

Далеко внизу горели, вспыхивали и гасли жестокие глупые рекламы.

— Слушай... лучше спой... напоследок... её...

Вера выбралась из-за стола. Выдернула край рясы из-под ножки стула. Стул упал. Она его подняла.

— Прости, Зиновия.

— Да что ты всё: прости да прости! Ты лучше пой!

Вера глубоко вздохнула. Песня полилась.

— Моя молитва — моё объятие! Моя молитва — любовь моя... Снимаю жизнь я, как будто платье... Устала в тесной одежке я. Устала, Боже... нет больше силы... Ни от сумы... ни от тюрьмы... Я жизни Божьей, я жизни милой, я жизни светлой молюсь из тьмы.

Зиновия, глядя в окно, пела вместе с Верой. Её

мокрое, светящееся тайной болью лицо отражало бесстрастное, алмазное оконное стекло.

— Я жизни Божьей... я жизни милой... я жизни светлой — молюсь!.. из тьмы...

Они обе спели свою последнюю песню. Общую песню.

Вера туже затянула на шее чёрный апостольник. Обтёрла ладонями лицо.

Оно тоже, как у Зиновии, тихо светилось, залитое прощальными слезами.

— Если надумаешь... слышишь, Зина... вдруг в мире досыта наживёшься... ко мне прийти... приходи... Ты меня найдёшь.

### ХОЖДЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ. ВОЙНА

**В**ера не знала, летит она или идёт, едет или не движется: стоит, как вода в колодце.

Вера перемещалась, но не шевелилась; устремлялась, но замирала и ждала.

Мир шумел и крутился вокруг неё, обтекал её, как остров. Она же не делала никаких усилий, чтобы этот мир преодолеть.

Пространство превратилось во время. И это было так странно. Горизонт сиял и вспыхивал, а потом гас за кромкой тайги. За чёрными тенями и каменными крыльями огромных городов. Вера не узнавала ни городов, ни селений; она шла по земле, а ей казалось, это земля идёт по ней.

Вера возвращалась в Сибирь, и ей казалось невозможным покинуть этот мир, прежде чем она нащупает ногами сибирскую землю, ляжет на неё грудью и животом и обнимет её сильными руками сколько сможет. Она, возвращаясь на родину, несла своё время с собой в своей забытой скитальной котомке, в вечном своём ветхом детском ранце, и растерянно оглядывалась назад: где он, мой святой Иерусалим?.. — и глядела вперёд, будто назад — туда, за окоём оставленной Святой Земли.

Она иной раз осознавала, что возвращается, и тогда её обнимала тревога: найдёт ли живыми тех, кого любила и знала? А её... узнают ли её... вспомнят ли?.. А иногда забвение туманом заволакивало горечь её возвратного пути, и тогда ей хотелось плакать — просто плакать, как простой бабе.

И она садилась при дороге на скамью ли, на ка-

мень, на земляной холм, да просто на траву, а не росла трава — так на сухую либо сырую и грязную землю, на приречный песок, и плакала.

К ней, идущей в чёрной длинной рясе, подходили люди: благослови, матушка! За версту от Веры веяло иночеством. Люди припадали к её руке, снизу вверх засматривали в её лицо: а ты случаем не прозорливая, странница? Вера понимала, чего хотят от неё люди. Они хотели утешения.

И она давала им утешение; и благодарили её люди, пусть даже безмолвно.

Когда она, поклонившись им, уходила от них дальше, вперёд, иные старики вослед ей крестили её.

Глядели на её старый скитальный ранец у неё за спиной.

А иные люди глумились над ней, прогоняли, грозили ей кулаком и даже плевали в неё.

Она улыбалась: «Люди, спасибо, вы ненавидите меня, Христа тоже ненавидели и били, а потом казнили, а я жива, значит, ещё потерплю. Ещё побреду».

Вера, возвращаясь, видела: веры на её земле гораздо больше, чем она себе представляла. Она мнила так: вера умерла или уже умирает, безбожие захлестнуло и утопило людей, ни к чему им оказался Бог, и служители его кто кричал о мракобесии, кто о несметных богатствах Церкви. А рядом шептали верные: настали последние дни, уже делят нас всех на овец и козлищ, и права была старушка Расстегай, что однажды, за давним чаем, просыпала перед Верой мелкие семечки слов: «Однако людишки как пьяны нынче, не понимает никто, чо деется! А деется, Верушка, вот чо: растеряли мы веру в Бога Господа, как пить дать, растеряли! И не соберём в котому, да где ж завалялась, миленька, та котомка?!» Вера тогда не соображала, о чём Расстегай ей бормотала. Теперь она понимала всё.

И не умом понимала: кровавой горечью сердца.

И даже не им, не своим земным, больным, резко бьющимся: а будто кто-то Небесный за неё всё знает, понимает, а ей, медленно по земле бредущей, только ясные картины в облаках показывает.

«Спасибо, Господи», — шептала Вера пересохшими губами.

Она в путешествии ела мало, привычная к постам; чаще ей хотелось пить, и она стучалась в низкие окна домов или изб, жестами показывая: пить! — и на неё махали рукой, или задегивали штору, или показывали язык, но чаще выбегал из дома мальчик с кружкой в руках, или выбредал сутулый старик, на снег — в одной рубахе, оглаживая белую бороду, с початой бутылкой минералки, и протягивал Вере, и пила она. И благодарил, кланяясь низко.

Она шла как во сне, возвращалась, поминутно благодаря Господа за лёгкий ход по земле, за то, что снова идёт по родной стране: её земля казалась ей при всей непонятной жёсткой враждебности тёплой и нежной под ногами, и воздух она грудью вдыхала сладкий, даже если это был горький бензинный дух. Истосковалась! Только теперь поняла как. Но святой Иерусалим по-прежнему был с ней, рядом с ней и в ней. Он просвечивал сквозь густо-синие и медвежье-черные грозовые облака. Светлой храминой нависал над углым придорожным кафе, над серым холщовым полотном дороги, ведущей на восток.

Вера шла на восход солнца, чуть прихрамывая и улыбаясь солнцу, даже когда его не было на небосклоне, и часто ночью шла, она ничего не боялась, ведь она уже прошла через смерть, и она встречала солнце грудью, блаженно поднятым навстречу лицом — и солнце брызгало в Веру лучами, счастливо приветствуя её.

Она видела раненых в старой забытой войне и раненых новых войн, с перевязанными свежими бинтами руками и ногами, и хромали искалеченные люди, и кричали ей хрипло: «Эй, подойди, монашка, если не трудно!.. Благослови и помолись за нас!..» И Вера подходила к воинам, к совсем юным солдатам, и широко крестила их, и в землю кланялась им, и тихо читала над их покорно склонёнными головами молитву. Один такой раненый солдатик, бритый, как из тюрьмы, голая кегля башки уже обрастала колючками, нагло, по-бандитски скалясь, бросил ей: «Ты знаешь, святая мать, я раньше в Бога не верил, а когда в мясорубке побывал — поверил. Ведь это Он мне жизнь спас». Вера согласно наклоняла голову: «Да, Он тебе жизнь спас». — «Да вот, калека ведь, — возмущённо, отчаянно кричал бритый калека, — как мне жить-то теперь без руки?! Побираться разве?! Да на кой мне такая жизнь?!»

Вера тихо гладила его пустой рукав. «С Божьей помощью всё образуется. И рад будешь, и сыт будешь». Солдат растерянно проводил ладонью по бритому потному темени. «Не верю я тебе! А вот ты мне скажи... ты настоящая монашка... ну, как это у вас там называется, схима вроде?.. Или ты начинающая?.. первый раз в первый класс?.. Да нет, на рожу-то ты не первоклашка... А может, ты эта, игуменья? Да просто так вот из монастыря вышла да пошла по дороге, пошла? Типа погулять?!» Вера улыбалась. «Я не мать-игуменья. Аз есмь раба Божия Вера, и монастырь свой я покинула, и вот в миру иду». — «Эх, так ты расстрига! — обиженно, разочарованно кричал молодой безрукий солдат. — Так зачем тогда рясу носишь, сними!» — «Нет, не буду, — всё так же улыбалась Вера, — я в ней умру».

И нищий бритый солдат отшатывался испуганно.

И Вера внезапно и больно вспоминала того своего давнего мужика, Бритого-сердитого, как бормотал он в железной тюрьме вагона, под стук колес: «Яички, яички красивые, цыпляточки сивые!.. Тебе очистить яичко, Верушка?.. Будешь?.. Жри!.. А то на кочергу похожа, ни кожи ни рожи!..» — встреченного в поезде, минутного своего мужа, зэка-вольняшку, потную рубашку.

И крестилась, продолжая путь: помяни разбойника моего родного, Господи, во Царствии Своем.

Вера шла через леса, реки, поля, города, мосты, берега, богатство, нищету.

И чем дальше она шла по родной земле, тем величавее становился её простой и незаметный ход, и её сердце всё больше раскрывалось родным людям, и многие люди вдруг стали непонятно узнавать её, а многие, случайно или неслучайно, уже знали её; и, её встречая, странные неведомые люди кланялись ей и падали ей в ноги, а она смущалась, останавливалась возле них на миг и благословляла их.

...Красный крест... Солнце, это в небе ты. От версты до версты... от полноты до пустоты...

...Красный, прекрасный Иерусалим...

...Плыву, в небесной реке налим...

...Вера, зачем ты — Вера... Лучше бы тебя мать по-другому назвала...

...Красную келью жизни всю пройти, насквозь, от угла до угла...

...Красным крестом солнце с небес падает, поймаю...

...Красная жизнь, я тебя вспоминаю... забываю... понимаю...

Как разнёсся слух по земле? Отчего людям стало известно о её возвращении? И кто она была такая, чтобы множество людей знало об этом, и всякий день узнавали о её печальном ходе по стране многие люди, и её уже поджидали, толпы собирались возле городов, что она обходила по окружным дорогам, вокруг монастырей, мимо которых она проходила, троекратно крестясь, рядом с вокзалами и станциями, где она должна была сесть в железную повозку, чтобы ехать дальше — всё дальше на восток.

Люди подходили к ней, и сердца их замирали. Им так прямо и передали те, кто о Вере прознал: святая в Сибирь идёт! ловите её! подстерегите! хоть прикоснитесь к ней! И люди шли, неведомо догадываясь, где она пройдёт, или лова вездесущие слухи, как рыбу сетью, передавали из уст в уста небывалые рассказы о ней: вот прошла насквозь знаменитый город, идёт в другой, на восток, и там, может, колёсами воспользуется, кто знает, и дальше покатит.

Дальше, дальше. Всё дальше.

Далеко маячила Сибирь, в тайном слёзном марае, и Вера, ложась отдыхать на лавку в зале ожидания или в тепло натопленной бедной комнатёнке у добрых неизвестных людей, думала спокойно: «Ещё долго пойду... быть может, целую жизнь».

И не жалко ей было целой жизни, чтобы дойти до родины; ведь жизнь по сравнению с родиной и Богом была такая маленькая, а Бог и родина были так велики, что ей казалось невозможным печалиться о своей жизни — малом сером перышке в крыле у серафима.

Сон длился, она шла, переступая ногами, измеряя усталыми ступнями милую землю; и земля то обжигала её ноги твёрдостью камня и острой щёбёнкой, то мягкой чернозёмной периной ложилась под её босые ступни. Да, летом она шла босиком, стаскивала с себя старые сапожки и шла по земле босыми ногами, стопами, как быстро бьющимся сердцем, нежно ощупывая её.

Если к ней подносили больного ребёнка — она накладывала на него руки. Она не спрашивала себя: «Имею ли я на это право — исцелять, изле-

чивать?» Таких вопросов она уже не задавала себе. Люди ждали от неё исцеления — и она горячо молилась, чтобы больной исцелился. Люди хотели, чтобы она утешила и спасла их — и она утешала и спасала.

Она давала людям то, чего они ждали от неё.

А ждали они только добра. Они все исстрадались во зле.

Вера щедро, горстями, дарила им добро, ласку и любовь. Как же мало было на земле любви, если люди так стосковались по ней! Может быть, они разучились любить? Дарить друг другу радость? Нет, такого не могло быть. А как же возлюбленные, что бежали сломя голову друг к другу на свиданье по тесным каменным ущельям городов? Как же семьи, где совместно готовили еду у раскалённой плиты, как же рождение детей — их, зачатых в любви, так ждали, так желанны они были, бессловесные крохи? Но всюду было и другое. И мать плескала кислотой в ненавистную дочь. И пьяный сын убивал старого отца кухонным ножом. И насмерть забивали мальчишки и девчонки товарища, он ни в чём не провинился, а просто сильно позавидовали они ему. Дружья становились врагами. Подруги приторно улыбались друг другу, а за спиной держали камень и только ждали мгновенья, чтоб его бросить.

Жизнь была полна ненависти так же, как и любви.

И Вера думала: «Да, это верно, иначе, если бы не было ненависти, как бы мы узнали, что такое любовь? Как бы отличили её от иных чувств?»

«Бог есть любовь, — повторяла она себе растрескавшимися губами. — Бог есть любовь. Пить! Жить!»

Её жизнь при возвращении постепенно исчезала. Веры становилось всё меньше. А что же, кто появлялся вместо Веры? Иногда ей казалось: она идёт не по земле, а над землей, её ступни не касаются дороги.

Её кормили, угощали. Это всегда было так чудно: Бог видел, когда она голодна, и подталкивал ближе к ней то бабу с корзиной яблок, то заезжего парня — рюкзак через плечо, а в рюкзаке в свёртке — подсохшие бутерброды; то в заштатном кафе, куда она заходила погреться, когда её землю накрывало белой попоной холода, к ней развязно, цокая каблуками по кафельным пли-

там, подходила чудная, странная официантша, брякала об стол стакан чая и тарелку с котлетой и лепёшкой картофельного пюре на воде, и бросала, языком заплетая византийские вензеля: «Платы не надо! И сдачи — не надо!»

Она много чего видела, пока возвращалась. А мир не менялся. Со времён Христа мир болел всё теми же болезнями. Излечивай не излечивай, они возвращались. Так же, как она: пешком, босиком.

В заброшенном селе, где торчало из земли пять живых домов, остальные, мёртвые, были открыты солнцу, ветру и снегу, двери сорваны с петель, окна разбиты, в комнатах танцует метель, засыпает снежной жесткой крупкой, небесными перлами, пустые столы, осколки посуды на полу, изгрызенный мышами черствый каменный хлеб, и хрустальные висюльки люстры, в неё камни пацаны швыряли, пытаясь сбить, как птицу, с потолка, чуть позванивают на мертвом сквозняке, — точно в таком доме она и остановилась на ночлег. Ей сказали: «Наше село проклятое, у нас тут Иуда удавился!» «Какой Иуда?» — спросила Вера; она давно ничему не удивлялась. Старухи, что чёрными курицами топтались перед Верой в снежной пыли, мелко закрестились: «И, милушка!.. Иуда — предатель! Да ещё какой, зловередина! Он тут нашего наиглавнейшего святого — предал! На смертушку обрёк!» Вера слушала, не перебивала. «Святой-то ой какой святой был! Святое некуда! Такой чудесный! Свет от него исходил за версту! Он у нас в селе жил, в избе у околицы! У нас церкви-то нет, так он нас всех у себя в избе собирал да нам Святое Евангелие читал! А мы — слушали! А ежели кто из нас заболит, так он без лекарств нас на ноги ставил! Он нам песни пел. Песню нам споёт — мы и очухаемся! Чудодейственный мужик. Лоб высокий, с залысынами, ото лба солнце горит! И вот Иуда тот взял да поехал в район, в ментовку, да там взял и наговорил на нашего святого! Что он — человека убил! А в те поры в лесу рядом с нами мертвеца из-под снега выкопали. И так всё подгадалось, что подвели святого под приговор! Под пожизненное! И увезли нашего любимича, увезли... далеко... на севера... А там вышла в тюрьме драка сильная. И убили... убили на северах нашего святого! А Иуда...» Вера ждала. «...А Иуда оставил записку: мол, простите все, это ж я убил того дядьку в ле-

су, когда он грибы собирать пошлепал! Кошелёк скрал у него! И, выходит так, двух убил. А я-то за чем живу? Прощайте все и не поминайте лихом Иуду! И пошёл, и удавился в сарае. Мы сами, старухи, его нашли! А он уже смердел. Вот она, жизнь-то какая!»

Вера выслушала про Иуду всё до конца. Наложила на себя крестное знамение. По очереди перекрестила всех старух.

«Дайте мне хлеба», — попросила.

Старухи принесли ей хлеба, сели на лавки и следили, как Вера ест. Потом поднесли ей воды.

Одна старуха спросила: «Ко мне пойдёшь, бродяжка? Я чайку горячего вскипячу. У меня и самовар есть!» Вера помотала головой: не надо, мне и так хорошо. «Да тут же по комнатам ветер гуляет!» — воскликнули старухи. Вера улыбалась: ветер — это хорошо. Это свежий воздух. Бог любит ветер. Он Сам на ветру всю жизнь прожил. По дорогам ходил.

Старухи ахали, плакали, принесли Вере тёплых одеял и укрыли её, когда она легла на голую лавку спать.

Прежде чем уснуть, она помолилась за сельского Иуду. За упокой его души. Хоть он и самоубийца.

\* \* \*

**К** Вере прибудилась рыжая собака с влажными карими человечьими глазами. Собака закидывала голову и любовно, преданно смотрела на Веру. Вера наклонялась и гладила собаку по голове. Они шли дальше вместе, и собака то и дело крепко прижималась к ноге Веры.

Собака научила Веру просить милостыню. Она научила её не страдать и не стесняться — садиться при дороге и протягивать руку. Для собаки люди приносили кости, огрызки, горбушки, Вере доставалось что-то и повкуснее. Они вместе с собакой ели, и собака ела красиво и нежно, Вера любовалась ею. Вера иногда разговаривала с собакой. И собака понимала её.

Вера возвращалась, и собака возвращалась вместе с ней туда, откуда её изгнали, — в любовь и заботу.

Жизнь всё больше превращалась в житие, но Вера об этом не думала. У жизни были годы, месяцы и дни, а у жития не было этого ничего; жи-

тие — это был огромный золотой тяжёлый ком, он тут же, на глазах, превращался в набухшую дождём и снегом тучу, из тучи ударяла молния, и Вера закрывала ладонью глаза.

Вера возвращалась в Сибирь вместе с собакой, и она снова, как при давнем ходе её из Сибири в Иерусалим, встречала разных людей, попадала в разные приключения, видела и хорошее, и плохое: видела и ножевые удары из-за угла, и грязные пятки спящего на лавке бродяги, видела чудо детского чистого небесного взгляда, и чудо великого тёмного сердца, когда один человек на краю бездны обнимал другого и шептал ему: «Не плачь, я с тобой». Она видела карманные кражи на рынке и внезапную смерть модного певца на открытой арене, на широкой площади; видела, как попадают под колеса электрички люди, и кровь разливается по шпалам и брызгает на серебряные, сельдяные рельсы; видела девок с фазаньим раскрасом щеки и мужиков, на виду у всех играющих пистолетами в волосатых кулаках; видела, как сворачивает голубую белую ангельскую голову подросток с сигаретой в углу презрительного рта, а рядом взасос целуются две девчонки, еле удерживаясь на земле на высоченных, как башни, каблуках. Видела, как люди дерутся не на жизнь, а на смерть, и прицельно стреляют друг в друга; видела, как, стоя на коленях, плачет мать над тельцем сына-грудника, убитого в оставленной возле магазина коляске. Она видела позор и счастье, милость и подлость, жалость и войну, убийство и рождение. Да, на её глазах родился ребёнок — в угрюмом, как гроб, здании сельской автостанции, и среди пассажиров нашёлся врач, он принял роды, а Вера стояла рядом, все без слов поняли, что она должна и может тут помочь; она подавала врачу скрученные в жгут чужие рубахи, счастливо нашедшийся бинт, йод и медицинский спирт из станционной аптечки; они гляделись как настоящие врач и ассистент, и все так и подумали, что эта высокая худая монахиня в чёрной рясе — из ближнего женского монастыря, а это просто такое у неё врачебное послушание, здесь, рядом, в сельской больничке. Младенец родился и тонко закричал, закричал, Вера смотрела, как мать лежит на вокзальной лавке, подплывшая кровью, и тяжело дышит, и счастливо смотрит, как ребёнок сучит ножками на руках у врача, а по лицу врача, по

вискам его и щекам течёт пот, а может, врач тоже плакал, как плакала Вера, не замечая, что плачет.

Собака сидела тут же, рядом, не шевельнулась. Только высоко подняла морду, вытянула по полу хвост и нюхала воздух.

Вера шла, и в воздухе перед нею маячили странные письмена. Буквы. Буквицы. Она не могла их прочитать умом, но прекрасно читала их сердцем. Чем дальше она шла и приближалась к Сибири, тем плотнее выстраивались в небесах, по обе стороны её пути, эти письмена. Она боялась их рассматривать, не хотела видеть их изгибы и узоры во всех подробностях. Не хотела их разгадать. Они висели в небе рядом, как завитки облаков, и этого было достаточно.

Вера понимала: она свободно может говорить на этом страшном небесном языке, но время ещё не пришло.

Сейчас, при возвращении, она могла без труда беседовать с рыбами и птицами, с деревьями и стрекозами, с лёгким снегом, что летел с распахнутых серебряной шкатулкой небес ей в обвязанное апостольником суровое лицо. На вокзалах, в туалетах она стирала апостольник, потом высушивала его на солнце — на карнизе, на спинке бульварной скамейки. Черный штапельный квадрат висел под палящим солнцем. Вера поднимала лицо к солнцу и закрывала глаза, чтобы не видеть манящих и строгих небесных письмен. Высохший чистый апостольник опять туго обхватывал её голову.

И опять, и опять она шла на восток.

И рыжая огненная собака шла вместе с ней.

\* \* \*

На пути Вере встречались люди, что сами загаговаривали с ней. Она отвечала. Слово за слово, Вера выясняла: человек, что с нею завёл разговор, не верит в Бога. Смеётся над Богом! А с нею речь завёл лишь потому, что она — в рясе. Интересно стало человеку: что же это толкает женщину, мужчину на такие бестолковые мучения? Жить в монастыре — какая глупость! Это несовременно. Это — архаика! Кто же сейчас верит в Бога? Ну так, старушки! А вы, вы же ещё молодая...

Вера спокойно слушала человека. Буквицы тайных письмен плыли по небу высоко над ней.

Она шла, не останавливаясь, и слушала чужую речь. Человек шёл рядом с ней, и собака шла. На ходу Вера говорила человеку о Боге.

Она видела: иные люди напрочь забыли Бога. А иные и не подозревали о Нём.

И надо было, в этой беглой случайной встрече на улице, в этой немыслимой беседе о том, о чём на ходу говорить нельзя, а ведь только с глазу на глаз, под взглядами огромных старых икон, в слезах горя или счастья, можно говорить о Нём. И о том, как Он свят. И как Он жив. И как только Им одним спасается — и ещё спасётся — человечество.

«Презирайте Его! Смейтесь над Ним! Кричите, что Его нет! Громче кричите! На Него тоже кричали. И били Его. И распяли Его. А Он жив».

«Откуда вы знаете, что Он жив, — кричал прохожий Вере, рассерженно семеня рядом с ней, — вы что, видели Его?!»

И тогда Вера останавливалась, печально глядела на человека и твёрдо отвечала: «Я видела Его».

\* \* \*

Сибирь распаивалась перед ней, как старый, сокованный лентами ржавой жести крепкий сундук. Вера видела дома и не видела их. Яснее, большее всего она видела землю под ногами.

Её башмаки вконец износились. Хотела их сбросить и босою идти, но боялась изранить ступни и ещё боялась холодов.

Однажды летом на неё напали пчелы. Она не отмахивалась: стояла и ждала блаженной казни. Одна-две пчелы укусили её. В руку, в щеку. Щека распухла. Пчелы улетели. Вера шептала молитву. Собака легла у её ног и закрыла морду лапами: она боялась пчёл.

«Страшный Суд, — шептала Вера себе неслышно, — аллилуйя. Жаль меня острыми жалами, Господь, бей, казни. Я — грешница. Там, среди облаков, пчелы водятся ли? Между туч люди летят, Суд гремит, а музыка звучит. Она звучит внутри».

В ней, пока она шла, звучали их с Зиновией песни. Звучал рояль, потом — орган, потом скрипка жалобно плакала и ныла, потом хор безжалостно обрушивал великие небеса, и они рассыпались на тысячу снежных, ледяных кусков. Потом звучало всё что угодно, музыка станови-

лась миром вокруг Веры. А Вера ужасалась своим грехам, и, пройдя по земле ещё малый отрезок пути, садилась на землю или даже ложилась на неё: ничком, чтобы теплее, ближе ощутить.

Ночевала где придётся. Иногда люди пускали её в сени, а собаку оставляли во дворе. Иногда гнали в шею: «Да пошла ты!.. Катись колбаской, бродяжка!» Оставался вокзал и ожидальный зал — прибежище бездомных.

Однажды ночевала Вера на маленькой железнодорожной станции, спала сидя на жёсткой лавке. Собака — рядом, плотно прижималась к её ноге в изношенном башмаке.

И тут, на дальней станции, Вере приснился Царь. Сначала она увидела его в блеске и славе. Царь сидел на троне и протягивал руку вперёд. Невидимый слуга вложил в руку Царю скипетр. Другую руку Царь поднял ладонью вверх. В неё прислужник положил тяжёлую, как круглая земля, державу. Царь крепко сжал золочёные знаки власти. Вера во сне вздрогнула всем телом, как собака. Она видела Царя, его жену и детей только на святой иконе в монастыре, в покинутом Иерусалиме. Ты же давно святой, хотела она во сне сказать Царю, к чему простой женщине снятся святые? Царь едва видно улыбнулся. Его озёрно-светлые, холодные глаза вспыхнули горем и прощением. Вера захотела кинуться к его ногам. И тут вдруг Царь превратился в маленького лысого человечка. Человечек сидел на троне, где миг назад сидел Царь, и держал в маленьких ручонках скипетр и державу. Удерживал с трудом. Держава заскользила, выпала из детско-стариковской шутейной ладошки, упала и разбилась. Осколки ослепили Веру. Во сне она закрыла лицо рукой. Отняла руку: лысого на троне уже не было. Сидел другой. Сивый, невидный. Тонкая умная улыбка прорезала бледные одутловатые щеки в еле заметных оспинах. Он смотрел вниз и вбок. И Вера туда поглядела тоже. К трону подвели человека с заломленными за спину и перекрученными проволокой запястьями. Человек смотрел не на трон. Он смотрел мимо и выше.

Вера поняла: пред очи нынешнего Царя привели Пророка. Пророк молчит. Что он может сказать тому, кто делает вид, что видит, и притворяется, что слышит?

Вера хотела рвануться вперед и крикнуть: «Эй! Давай я за тебя скажу! Пока мне глотку не пере-

резали!» — но тяжёлый сон опутал ей, как лошади, ноги и не давал бежать.

«Ты... — сказала она себе в отчаянии. — Ты примерила на себя платье чужой страны, ты ходила в платье святой веры... Ты, Вера несчастная, и кому ты была нужна на чужбине? Вот — твоя страна! И твой Царь! Да, это все твои Цари, и зачем тебе от них сбегать? Где родился, там и сгодился! Ты брела вон от родины, ты хотела... А что ты хотела? Увидеть чужие края? Выполняла встали мёртвой подруги?» Перед нею как живые встали кружевница Анна Власьева и старушка Расстегай; они обе, морщинистые и весёлые, весело смеялись и размахивали руками, друг другу пытаясь указать на Веру; они видели её, но не могли до неё докричаться. «Ты... — шептала Вера себе. — Ты забыла свой народ! Какой он нынче, твой народ? Он другой! Может, он и не примет тебя, другую? Возомнила себя там, на чужбине, святой! А вот народ твой — новые скоморохи и новые бояре, новые нищоброды и новые богатеи; богатеи зажрались, а нищие голодают, всё как надо, всё как встарь! Башню люди строят всё ту же: до небес. За облака хотят прорваться! Всё выше и выше! А ты? Полезешь ли на ту башню? Ринешься ли с неё вниз? И разобьёшься... как та держава... на тысячу кусков...»

...Проснулась и долго не понимала, где она и что с ней. Собака строго сидела и внимательно глядела на Веру.

Собака хотела есть.

\* \* \*

*Вся животи́на всё́ дрожащее зверё и птичьё<sup>1</sup>  
На челове́ка хочет поменять обличье  
Всё́ отчаянное моё́ зверё и птичьё  
Клеочет, рычит-стонет уснет впадет в забытье  
О голуби сизые фениксы кто вы безвестные  
Не голуби мы а ангелы небесные  
Мы ангелы мы твои архангелы-сироты  
Очи наши бездонные твоей лопатой вырыты  
Живые куда вы летали лёгкие-любимые  
В каких небесах распахивали крылья голубиные  
Летали мы девушка на прощенье-прощание  
На вечной жизни небесное обещание  
Твоя душа с телом однажды расстанется  
С руками-ногами простится  
в глаза как в зеркало глянется*

*Поднимем тогда на небо мы душу крылатую  
И сверху глянет она на тело избитое распятое  
Приведем душу ко дворцу Небесному Граду  
А она плачет не требует награды  
Приведем душу во Ад где в котлах масло варится  
А грешники на сковородах адских*

*стенают-жарятся*

*Отвернётся душа не нужен ей Ад  
Крикнет нам ангелам несите меня назад  
А назад нельзя из Ерусалима Града Небесного  
Из света звездного дня воскресного  
Приведем тогда душу ко гробу*

*где тело спит в земле*

*А черви едят его во сырой во мгле*

*И воскричит душа моя*

*погодите меня черви точить*

*Я ещё хочу молиться ещё хочу любить*

*Отпустите меня к людям на людей поглядеть*

*Я стану людям новые песни петь*

*О том, чтобы они зверей птиц да рыб берегли*

*На самом краю неба и на краю земли*

*Потому что живое оно живо и лонись и надьсь*

*Животина не может Богу молиться а ты молись*

\* \* \*

Люди кланялись ей, ловили её руки и старались поцеловать их, а какие и осыпали проклятиями, а она всё шла и шла, и серая змеиная шкура асфальта покорно ложилась ей под ноги; и становилась Вера двужильною, не нужны были её зренью и слуху названия сёл и городов, она понимала — это уже Сибирь, вот она, родная. Обь Вера перешла по мосту. Она останавливалась и долго глядела вниз, на текущую воду. Холодная вода!.. её города! Боже, зачем ей был далёкий Иерусалим! «Аннушка... — шептала она облакам. — Анна Власьева, я всё сделала хорошо, я твою волю исполнила, не правда ли?» Из воды, крутящейся около быков моста, на неё смотрели лица, и это были лица родителей. Отсюда, с высоты, отец и мать казались ей благочестивыми и благородными; волосы их светились золотом, глаза сияли торжественно, прощая Вере даже то, что она не делала никогда. «А после вместо матери у меня Анна Власьева была», — шевелились Верины

<sup>1</sup> Пунктуация автора.

губы, обсушенные ледяным ветром. Вера вспоминала детские игры, шалости и веселье, а может, боль, слёзы и тьму, и паутину по углам — и ничего не могла вспомнить. Да и было ли детство? Ей казалось, она слишком рано ушла из дома. И потеряла детство. А может, ей просто не дали им всласть полакомиться.

Она пыталась вспомнить обиды, уколы, укеры, ругань, побои, насмешки, издёвки — и не могла: может, в её жизни и не было ненависти? Как тряпкой вытерли, стёрли из памяти бандитов в Иерусалиме, синагогу в крови. Зато она помнила, как усердно работала во славу Божию в монастыре. Как книжки там читала — умные.

Вера глядела на обскую воду и думала: сколько же тут рыбы! Отравляет человек водоёмы свои, а рыба всё не сдаётся нефти и яду. Перейдя на восточный берег, она вознамерилась порыбачить. Да удочки не было у неё и крючков, и поплавок, и червей. А хорошо было бы рыбу поймать да в костре запечь. Она села на берегу на старую лавчонку, так долго сидела, глядела на воду, на закат. Побрела дальше. Собака за ней. Дошла до церкви; железные, с чугунным узорочьем двери закрыты, в последних лучах медного солнца сверкает начищенный замок. Вера села у дверей храма, обняла колени, склонила голову, закрыла глаза и погрузилась в нежную дрему.

Ночью к ней подошёл пьяный подросток и поднёс зажигалку к её подолу. Ряса загорелась. Вера проснулась от боли и от огненных сполохов перед глазами. Закричала. Мальчишки давно след простыл. Собака выла, как при мертвеце. Вера в горячей рясе сбежала с церковного крыльца, каталась по сырой и холодной весенней земле. Сбила пламя. Чулки её сторели. Она смотрела на свои ноги в ожогах и спрашивала себя: «Господи, мои ли это ноги? А может, чужие?»

Она сняла сожжённые чулки и выбросила их: всё равно скоро тепло. Трудно побрела дальше. Обожженная кожа болела. На обрыве стояла больница. В больничном саду медленно и тоскливо гуляли старые люди в халатах и тапках. Старухи из больницы выпросили на больничной кухне подсолнечного масла, принесли Вере; она мазала маслом ожоги, плакала и смеялась. Собака стояла рядом. Она всегда была рядом. В отличие от людей, которые всё время куда-то — и навек — исчезали.

Идя и думая о многом человеческом и Божием, она стала жалеть, что в своё время не вышла замуж или что её не обвенчали нарочно, насильно. Глядя в лица мимохожих женщин, она думала про каждую: вот у неё дома муж, дети, а то и внуки, — и Вере становилось пронзительно, светло и жалко себя. Одинокая! Как больно! Она думала тяжело и отчаянно: семья — это ведь маленький храм, а я так и не пожила в этом малюсеньком милом и отчем храме, не убирала его, не обиходила его. Ей захотелось быть хозяйкой, матерью, но она шептала себе: «Ты — мать Вера, тебе вера только одна и осталась, слишком поздно!» — и зудящее слово «поздно» жалило её злой пчелой, укалывало ядом грядущей смерти. Смерть летала близко, Вера чувствовала её черное дыхание и лёгкий неслышный перестук костяшек, но давно она смерти не боялась.

Только всё время было жаль, смертельно жаль чего-то. Или — кого-то.

Тот человек с ручным питоном в Москве... тот бродяга, Алёшенька, в Одессе, монах-расстрига... Липа Гузман, чернобородый богатырь, на жаркой восточной улице, и золотой попугайский коготь серьги зацепился за ухо, и камни все в трещинах от солнца... Сестра Васса, её ночной шепот, и вот бросает ей ломтик лимона в крепкий, как вино, чай, а на сахар указывает тоненьким пальчиком и смеётся: «Сладкое — наслаждение, грех!..» Лицо Зиновии. Лицо N. Боже мой, Боже! Сколько же лиц у Тебя!

Она пыталась отомолить то, двойное иерусалимское убийство, когда она, убегая из притона, выстрелила сначала в рот насильнику, а после в живот безымянному часовому; она убила двух людей, и страшно было жить кожей и кровью сращенной с пожизненным проклятием, чудовищным, сиаемским уродом-близнецом: душа и грех. «Я убила, Господи! Человеков убила! Живых! Одного и другого! И не охнула! Но это же была война! Моя война! Да, сделай так, Господи, чтобы будто бы я убила этих людей не в мире, а на войне. Да ведь это и была война! Моя война! Я жизнь свою спасала, а то бы убили меня. Баш на баш! Никому жизнь не отдашь! И все же, все же! Я взяла на душу смертный грех. Боже, милый Боже, прости мне! Если можешь! Ты — можешь! Я с таким грехом — жить не могу! Долго не проживу... И до Енисея — не дойду...»

А если — дойти? Енисей близко. Дойти и осесть, и пустить корни, и — врасти? И земные поклоны класть без усталы; и рукодельем заняться, и дарить поделки направо и налево, и однажды отвезти ручную вышивку в воинскую часть — пусть солдаты повесят в торжественном актовом зале вместо ковра. Она смеялась над собой: «Чушь прекрати думать! Да ты же не вышьешь гладью ни танк, ни пулемёт, вот Распятие — да, вышьешь; и подаришь изделие своё в храм, там тряпка твоя шёлковая будет нужней».

Крест вышить. Чёрный крест.

Красный лучше. Ткань снегов расстелена. Отановиться, ноги устали, сесть на снег. Нож попросить у прохожего мужика. Якобы воблю почистить! Или — колбасу! И полоснуть по запястью. Кровь брызнет. Это твой шёлк. Лей на снег! Вышивай! Живет только то, что вышито кровью. Про что спето кровавым горлом. Всё остальное — сдохнет. Собака моя, ты не сдохнешь! Ты умрёшь как человек. Да ты человек, у тебя человечьи глаза. Полные слёз.

«А люди, — спрашивала Вера себя, — они кто, рабы или цари? Кого в них больше — царя или раба?» Всё больше и сильнее она хотела служить самым слабым, последним. Самым битым и насмерть забитым. Вот они точно мало любви в жизни видели. Да что там! Не видали её совсем! А зато сколько смеялись над ними! Пинали их, гнали! Самой драгоценной награды они достойны. И не шелковой вышивки.

А — чего? Крови твоей на снегу?

На церковном подворье кормили бедных — Вера старательно плескала черпаком из котла в подставленные алюминиевые, цвета серебряной полночной луны, миски горячее варево, кромсала тесаком хлеб, всовывала миски в руки нищих, согбенных и дрожащих. Люди медленно брели к накрытым чистой клетчатой клеёнкой столам, прижимая к себе драгоценную миску, нюхали луковый пар. На краю стола излучал жар самовар, как в старое доброе время. Времена смешались, и не становилось времён. И Вера, когда все поедят, собирала со столов пустые миски, складывала их грязной горкой и смиренно тащила мыть — открывала уличный кран, холодная вода обжигала, веселила пальцы.

Услужить человеку! Она и не знала, до чего это хорошо. Да, в монастыре послушания ино-

киням назначались всевозможные; а такого широкого, как ветер, счастья никогда не испытывала. Правду говорят: своя земля и в горсти мила. Всё глубже зарывалась Вера жадными руками в широко распахнутый сибирский сундук, и она знала, там, на дне, лежит и любовно вздрагивает всеми излучками и порогами её се-ребряно-изумрудный, дымящийся Енисей, — уже скоро, уже завтра она увидит эту морщенную ветром, вышитую светом скатерть. Дойти и услужить! Что будет творить — не знала. Но глодало изнутри: сотворить! возвести!

Только б не война! Только б не война...

Тут мысль обрывалась, она скусывала её, как нить. Пыталась увидеть перед собой N — его руки, его лицо. Какой он был? Она не запомнила его. Издали, отсюда, он казался слишком гладким. Блестящим. Гладко оструганным. Она вместо его лица видела гладкую отполированную кеглю. Вместо его рук ошущала лишь их далёкое тепло. Они были такие тёплые, когда он брал её руки в свои. Это было одно, что он себе позволял. Ласку к ней. Благоволение.

Мужчина крепко сжимает руки женщины: благословляет её. На объятие или на разлуку — это всё равно.

Люди иной раз были как бесы, а ангелы спускались с облаков в виде людей. Мир Верхний и Мир Нижний мешались, варились в единой похлёбке, красной солянке. Людская площадь большого города чудилась Вере живым котлом. И она, вдруг — огромного роста, упиравшись головой в небеса, — брала котёл за ржавую дужку и еле поднимала, тяжёлый, а кипятик булькал, и время выплескивалось и обжигало ей локти и ноги. Бессонной ночью на стылом вокзале, на безымянной станции Вера вставала на раннюю молитву, как в монастыре. И люди оглядывались на неслышно творящую молитву суровую монахиню в потрёпанной рясе, и отворачивались, и стыдливо поджимали забывшие о молитве рты, и вздыхали.

Бесы таяли и разлетались пылью от утреннего правила, а ангелы в виде людей придвигались к ней ближе. Поезд подгромыхивал к перрону, Вера подходила к вагону, низко кланялась проводнице и глядела безмолвно; когда её сердито и жестоко прогоняли, а когда и украдкой, туда-сюда глазами постреляв, пускали в вагон и шепта-

ли: «Посиди, матушка, или — даже лучше — в тамбуре постой, так и доберёшься. А тебе куда? А собака — твоя? Мы со зверями не пускаем, нет...» Она молчала.

В плацкартный вагон они торжественно входили вместе с рыжей собакой и шли мимо всех незнакомых жизней, проходили их насквозь, навывлет.

Где место было свободно — она садилась, и собака клала голову ей на колено.

Ей говорили, что скоро начнётся голод, что людям не платят денег за работу, говорили, как люди воруют еду на рынке и кошельки из карманов, а ещё говорили попутчики, что скоро начнётся война, и Вера молча опускала голову. Старик с заплечным мешком спускал с плеч верёвку, развязывал дорожный мешок, вынимал хлеб и жевал его беззубым ртом. Шамкал, глаза закрывал. А потом открывал, и летели из его глаз искры, как от ночного костра, в Верино лицо. «Земля не родит! Дороговизна всюду! Нищие бродят и вопят! Люди в дальних селах — в полях сено крадут! И продают! Кражи всюду, воры по домам шныряют! Где и голодуха сильная! Люди людей убивают за копейку! Болезни старинные ожили! Ни похоронить толком, ни родить! Времечко!» Рябая баба на полке напротив — глазёнки крошечные, как у свинёнка, часто-часто моргают, аж сморщилась вся от гнева и покраснела. «Старый пень, каво болташь! Однако дрянь несёшь! Мало-мало охолонь! Сено, вишь, у нево скрали! Скажи спасибо, што самово не скрали! Щас, на оборотки, еды завалися! Мясов, курей, всево! А ты... фух!..» Баба махнула рукой на старика, как на муху. Вера широко, медленно перекрестилась.

«Молись, матушка, — кинул ей старик, будто голубю корку, — верное это дело, молитва. Да молодые над ней смеются! Ржут как кони!»

«И опять што валишь, дед! — встряла подслеповатая рябая баба. — Щас на оборотки молодежь верует! Ишо как верует! Нам с тобой и не снилось! Чеши, чеши языком-то! Может, вральну язву и начешешь!»

Вера тихо читала вечернее правило. Солнце закатилось. Тьма напознала на землю.

Посреди светлой весенней ночи поезд встал и долго стоял. Вера вскинулась. Она спала сидя, голову положила на вагонный стол, руки её упали плетями. Молчание поезда разбудило её.

Сердце толкалось в ребра. Ничего не понимала она, только знала: круг замкнулся.

«А может, это и есть мой Иерусалим?»

Собака, что умно и покорно спала возле её ног, подняла голову и задвигала большими стоячими ушами. Вера вскочила. Побежала по вагону, на ногу припадая. Собака — за ней. Ряса обвивала Вере голые ноги. Ранец, подпрыгивая, бил по спине. Башмаки стучали по вагонному полу. Добрая проводница, что пустила её в поезд, презрев наказанье начальника, вытаращилась изумлённо: «Вам, монашка, до Красноярска разве? Так каво вы мне сразу не сказали?!»

Вера вылетела из вагона на перрон. Нежная майская ночь выливая белый мёд на город из громадного полночного ковша. Поднялся ветер. Он мял и грубо крутил Верину рясу, бил собаке в нос незримым кулаком, и собака повизгивала. Вера наклонилась и погладила по голове собаку. Её губы задрожали, и по щекам на отошалуую шею стекли, как дождь по стеклу, упрямые нищие слёзы.

— Я вернулась, — тихо сказала Вера собаке.

Верины колени подогнулись, и она села на перрон, и крепко обняла рыжую собаку, и притиснула к себе, и морду собачью к груди прижала, и поливала слезами.

\* \* \*

*Мир — не покойник, которого надо обмыть,  
Мир — не смертельно больной,  
и нельзя прикасаться к одежде;  
Мир — он тянется, длится, вьётся, как нить,  
А клубок заново не смотать, чтобы сделалось всё,  
как прежде.*

*Заболел ты? При смерти? Так я о тебе помолюсь.  
Помолюсь так, что не пристанет  
ни язва, ни мор, ни проказа.  
Это служба моя такая:  
мыло, банный веник и дуст,  
Хлорка, известь и щёлоч, и навек погибает зараза.*

*...Мир, ты врешь всё. Ты болен! И я твой врач.  
Я лечу тебя этими страшными,  
жгуче простыми словами:  
Отче наш, и Богородице Дево, хоть плачь,*

*И Сорокоуст, и вот Он, крылатый,  
в метели идёт между вами.*

*Ну, зови же скорее, бедный, болезный, к себе меня,  
И прибегу, задыхаясь, глазами светясь,  
путаясь в рясе, —  
Я успею до твоего погребенья,  
до этой тяжёлой вспышки огня,  
До хоровода воплей, до рук в умирающем плясе.*

*Ая-то, я-то!.. — мнила, ты вечно,  
Мир, будешь жить!  
А ты, дурачок мой, безволосый смычок,  
из жизни не извлечёшь ни звука.  
И, увидев меня, последней Вере  
ты жалко выхрипнешь: «Пить».  
И последней Любви протянешь дрожащую руку.*

*Только я на колени встану  
у последней койки твоей,  
В последнем твоём полевом госпитале,  
пахнет потом и кровью,  
Последняя твоя сестра, красный крест,  
меж последних твоих людей,  
Последнюю воду в кружке поднося  
ко рту твоему, к изголовью.*

\* \* \*

Вера не узнавала улиц. Дома глядели сквозь неё и мимо неё. Она подходила к дому, ощупывала ладонями камни; камни излучали холод, а нагретые солнцем — святое тепло, и она склонялась и целовала камни, как чью-то живую щеку. Она шла по городу и видела яркие похороны, и обитый красным шёлком гроб, и чёрный крест, вышитый на атласе; видела детей, что бегут в школу, за плечами их ранцы трясутся, ноги весёлыми ножницами режут весенний воздух. Видела, как в железных повозках едут люди — кто на работу, кто в гости, кто куда, — и думала: «А вдруг в этой селёдочной тесноте едет воскресшая Анна Власевна, кружевница, едет весёлая старушка Расстегай?» «Не воскреснет никто, нет чуда чудесней, — шептала она себе, — нами, мёртвыми, Бог вызвездил твердь небесную, из нас сложил Небесный Иерусалим». Ей хотелось быстрее вырваться вон из Красноярска: от се-

бя старой, от себя прежней. Ноги несли её, она была благодарна своим выносливым ногам.

Рыжая собака послушно и весело бежала за ней, и однажды собаку убили. Её подстрелили специальные охотники на собак — видать, вышел приказ во всем городе перебить бродячих псов и кошек, Вера и ахнуть не успела: подкатил железный слепой фургон, выбежали два мужика, у одного охотничье ружье, у другого пистолет, стали палить, чуть Веру не подстрелили. Она отбежала и упала на землю. Лежала на земле и видела, как её родная собака визжит и катается в корчах по асфальту. Затихла. Морда в крови. Меткие стрелки попали в бок и в голову. Шерсть потускнела, слиплась. Зубы оскалились. Вера лежала щекой на тротуаре и видела, как мужики вразвалку подходят, ощутила летящий от них густой табачный дух, услышала табачную, смачную речь. «А бабу каво, тоже зацепили?» — «Посадят тебя, лешак!» — «Да не, живёхонька она, однако, глянь, шевелится». Вера встала на колени. Глядела, как её собаку волокли за задние ноги к фургону. Вбросили внутрь, в чёрный зев железной двери. Машина завелась, поехала, обдав Веру гадким синим, сизым дымом. А Вера всё стояла на коленях.

Перекрестилась. Она молилась за собаку.

А ведь она так и не дала ей имени; весь путь по земле звала её просто: собака.

«Нарекаю тебя Рыжулей, — шептала Вера и крестилась. — Будешь ты, Рыжуля, на небесах, а когда я приду в Небесный Иерусалим, ты там встретишь меня, да, именно там, ты помни, жди у врат».

Поднялась с колен и пошла дальше. Всё дальше и дальше.

Вышла из города; вокруг то стелилась степь, то колола ветер иглами весенняя тайга, лиственницы выпускали на волю, под тёплые руки ветра нежную пахучую хвою, и опять поля, и вспаханная земля, а под тонким слоем жизни — вечная мерзлота, и никто, никто не отогреет землю, никогда не оттаёт она. Зачем же тёплый человек всё шагает, шагает по ней? Она с горечью думала о себе: может, она не права и надо было ответить на любовь знаменитого N, и жить с ним в роскошных его хоробах, и родить ему хороших детей, здоровых и красивых, разве это всё не Божие дело? «Очень даже Божие, конечно, — соглашалась она с собой, — да я не Сарра и не Елисавета,

стара рожать, и чуда не будет, и есть ещё мой Иерусалим, и я его возведу, пока я тут, на земле».

Что Вера имела в виду, когда шептала себе, как в солнечном бреду, идя по длинной, бесконечной дороге: «Мой, мой Иерусалим?» Она не могла бы дать ответа. «Подлинный Иерусалим — тот, что остался крыльями за плечами, — разве он не был сном... да, ведь это был всего лишь сон, — бормотала себе Вера, — но зато какой красивый сон, правильный, честный, про людей, Бога и дьявола, про Литургию оглашенных и Литургию верных, а кроме Божественной Литургии и нет у человека чистой небесной радости: ни у простого нищего, ни у великого царя». Под рёбрами, в груди, горело и тлело великое, царское чувство. Она пока не знала ему имени. Может быть, это тоже была любовь, один из её многих неуловимых ликов; Вера хотела быть и жить во славу Господа, а одна или с кем-то, она не знала; да ей это было всё равно; просто шла и шла, и на ходу молилась, и садилась, чтобы отдохнуть, прямо на холодную землю, смеясь, и плакала о рыжей убитой собаке.

Ей подавали хлеб и деньги. Она низко кланялась, принимая милостыню. На краю села увидела брошенную заимку; чернобревенный дом глядел выбитыми окнами, земля огорожена длинными жердями, а жерди все на дождях, снегах и ветрах подгнили, посерели серебрено, покрылись трещинами. Вера отогнула гнилую жердь, поднялась на посеченное временем крыльцо, вошла в дом. И опять на неё пахло мёртвою, святой погибшей жизнью. «Может, дом этот меня как раз и ждал!» Лампа под потолком, и стекло разбито; у швейной машинки на подоконнике отодрано колесо, вон в углу валяется, поблескивает голубиным серебром. Обои исцарапаны — котами ли, мышами. Старый портрет на стене — холст, масло, чья-то наивная, тюремная, простецкая кисть — издырявлен пулями: в портрет стреляли и пробили лоб, щёки и спокойно сложенные на коленях руки, а под коленями скорбный малеванец изобразил лагерные бараки, крыши засыпаны снегом, поодаль из сугробов торчат кресты, тут живут, тут убивают, тут же и хоронят, и там, далеко, в зимней снежной кисее, колючая проволока. «Отец... отец мой, спасибо за привет с небес, ты не думай, я тебя помню, я за тебя по-

молюсь», — Вера встала посреди убитого дома на колени и долго молилась.

Потом стащила с плеч ремни ранца и вытерла лицо подолом истрёпанной рясы.

Устала. Вечерело. Холодало. Она вышла на крыльцо. Огляделась. Просёлочную дорогу окутывал туман. «Май, — думала она туманно, — если землю вскопать и взрыхлить, и верно засеять, взойдут семена и рассада». У баб попросить? «Завтра в тайгу пойду, ручей найду, речонку какую, крапивы нарву, ошпарю, вот тебе и еда». Вспомнила, что в ранце лежит огрызок милостыни — кусок ржаного хлеба. Она вернулась в избу, вынула из ранца твёрдый, стальной ржаной и съела его. По щекам её текли слёзы. Вспомнила, как ела хлеб, в насмешку брошенный ей на сцену. Простреленный человек с портрета глядел на неё дырявыми глазами. У человека тускло мерцала из тьмы бритая маковка и печально светились сложенные, как в гробу, изработанные, в шишках и мозолях, руки. Бритый нарисованный зэк смотрел, как она ест хлеб и плачет, и без слёз плакал вместе с ней.

\* \* \*

Вера поселилась на заброшенной заимке. В Всараяшке нашла битые стекла, застеклила и старой ватой законопатила окна. Топила печь даже летом, чтобы в избе тепло было. Нашла в избе, за печью, топор, и пилу, и другие инструменты, подмогу в хозяйстве; на полках отлично сохранились и горшки, и кастрюли. Ходила в село, туда приезжала три раза в неделю торговая машина, безденежную Веру уже все знали, из машины бросали ей бракованный, с запеченной грязью хлеб, сельские старухи оделяли яйцами, пирогами, морковью, луком. Старой ржавой лопатой она вскопала землю, сама посеяла лук, картофель, петрушку, брюкву, китайскую капусту и огурцы. Явилась к ней одноглазая тетка из села, давала советы, с интересом, хитро косилась на Верину обтрёпанную рясу, хрипло спросила: «Из монастыря сбежала?» Вера молчала. Тётка подмигнула: «Давай постираю! А ты пока моё платишко поносишь». Вера улыбнулась: «Сама постираю».

Тётка вынула из кармана пачку сигарет, долго смолила, потом вытащила из-за пазухи че-

кушку: «Рюмки у тебя есть? А то давай из горла! Не побрезгуй, сифилиса у меня нету!» Вера молча улыбалась и глядела, как тётка пьёт — запрокидывая шею, жадно, как мужик, крупными глотками, без закуски. Зло утерла рот: «Хоть бы морковку какую дала, мать! Да нет у тебя морковки! Вырасти ещё!» — «Выращу», — кивнула Вера. Пахло водкой. Из открытого окна тянуло хвоей. На жёстком лице Веры было нарисовано великое счастье.

Она обнаружила, что Енисей оказался тут, рядом — за земляной грядой, поросшей листовничником и кедровым слаником. Когда она выбрела на кручу над рекой, она даже закричала от радости — так был волен и сурово-торжествен царь Енисей, так размахнул он на полмира свою синюю, холодно-парчовую мантию. Резко-сизая, будто заиндевелая, синь жестоко ударяла в глаза. Лежал под небом синий нож, и небо не могло схватить его и им разрубить время и давнюю боль. Вера стояла, руки по швам, как солдат, и глубоко, как на приёме у врача, дышала. Вдыхала родину. Сколько лет!.. без неё... А она и не считала. Толку было считать. У времени счёта нет; есть только его скелет, и костяшки тихо стучат друг об дружку, дужки рёбер, выгибы каменного черепа. Речной ветер безжалостно мотал подол Вериной старой рясы. Она ощутила себя старой, великой и вечной, как эта земля; и ступни её были уже тронуты мерзлотой, и волосы — инеем. Холодное лето шло и текло, шёл вдаль Енисей, царственно и мощно, к далекому ледяному океану, и вместе с Енисеем Вера сама шла по своей земле, и теперь время ей было не страшно — ведь она вращала ногами в родину, и это было твёрже, важнее всего.

Спала Вера летом и осенью на лавке, укрываясь старым тулупом — тулуп ей сельчане подарили; зимой и весной на печи, и кости её, живот и затылок согревало хвойное, смоляное тепло. Долго горела листовница, самая твёрдая древесина среди всех колючих таёжных царич, так же долго, как Вера её пилила в тайге. А берёза быстро прогорала, и сосна. Немного дровишек надобилось Вере на зиму, она могла легко терпеть холод, иногда изба к утру вымерзала так, что брови и волосы Веры покрывались налётом инея, а изо рта, как у коня на морозе, шёл пар. Она вскакивала затемно и растапливала печь. Когда дрова

начинали трещать и гудеть, Вера садилась на пол близ печного зева и глядела на огонь. И вспоминала свечной огонь в монастырском Троицком храме, и Благодатный огонь во храме Гроба Господня, и мерцанье ягодной лампы в их с сестрой Вассой строгой келье, и как она вставала к тому слабому детскому огню и молилась. И тогда Вера опускалась на колени около пылающей глотки русской печи и опять молилась. Она молилась на огонь, как на горящую золотом икону Божией Матери Владимирской.

Она строго соблюдала все посты, помнила все праздники. Вставала и ложилась с молитвой. Всё меньше думала о себе; всё больше — о людях вокруг, о природе окрест, но более всего — о Боге в небесах. Здесь, на Енисее, Он оказался всех ближе к ней. И она не уставала благодарить Его за такое чудо.

Она думала о людях, что страдают близко и далеко, и, чтобы страдать вместе с ними и страдать, как Господь страдал, она в башмаки свои, под свои босые ступни, клала черепки разбитой глиняной крынки, пучки крапивы и скорлупки кедровых орехов и так ходила. Башмаки изнасились; тётка-пьяница принесла ей мужские сапоги, швырнула и заплакала: «Носи! На здоровье! Это муженька моего покойного сапоги. На счастье!» И Вера обула ноги свои в чужие сапоги и низко поклонилась вечно пьяной тётке.

...Пьянь ты, рвань, — а я же так люблю тебя... Такая моя обнимальная судьба... Пригрудила всех. Приголублила всех. Голубиный слышу над собой в небе смех. Глубинные теченья... густая вода... а может, кровь... не выплыть никогда... убить без следа... любить навсегда...

...Мир, ты моя пьяная, желанная беда...

Понемногу вокруг Веры стали селиться люди. Старики. Старухи. Бродяги. Беглые: девчонки, что удрали из интерната, мужики, что убежали из колонии под Енисейском. Они подходили к Вере под благословение. Строили на заимке кто что мог. Кто поселялся в старых сараях, чуть подлатавши кривые доски. Кто даже в шалашах, потом себе времянку сооружал. Верина изба обрастала другими избами. Место заброшенное, тихое, власти здесь не появлялись, машины сюда не заезжали. Возникла своя упрямая жизнь, и средоточием этой жизни была Вера. Так рождался её собственный монастырь, где она яви-

лась всем молчаливой игуменьей, и все звали её «матушка» — и даже без имени, просто — матушка, и всё. Земля родила, бабы заводили коров, косили траву и сушили скотине на зиму сено, зимою дым белыми рыбами на невидимых куках вставал над трубами, росла заимка, превращаясь в таёжный монастырь, и Вера понимала: это судьба, и надо радоваться ей. Она и радовалась как могла.

Она приходила к каждому в его избёнку, в сарай; учила молиться, если не умели; учила сажать лук и морковь; учила детей чистить картошку, а их родителей — варить китайский луковый суп. В неурожайный год монастырь на заимке голодал, в урожайный — дома ломились от всяческой еды; насельникам кто привозил из других святых мест святые образа, а когда они и сами, перекрестясь, делали иконы — вырезали на бересте, малевали на старых кухонных досках. Вера понимала: никакого церковного права она не имеет управлять самостийным лесным монастырьком, но так говорила себе: «Права у меня на это нет перед людьми, но есть перед Господом»; и просила: «Господи, не дай мне покинуть моих людей, не дай оставить их прежде времени, а дай им помочь, обиходить и обустроить их, и главное, Тебе научить молиться и к Тебе идти». Она вспоминала разговоры с N про войну. Отсюда, из глубин тайги, война виделась смешным драконом, коряво нарисованным в детской тетрадке; замалюй его черной краской, зачеркни, и все, умрет он и больше не воскреснет.

Люди, кто мимо шёл, заходили на заимку — попросить кусок хлеба. И Вера, и насельники всегда мимоходом хлеб давали. Ещё и чем другим из съестного оделяли, и одеждой, если путник брёл в изношенной-дырявой, и образок в руки совали, и на дорогу крестили. В монастыре Вериним никто не пил, даже та тётка-пьяница — из ближнего села переселилась на заимку жить и бросила пить, хотя люди Вере говорили: женское пьянство не лечится. «С Богом излечимо всё», — говорила Вера и опять вставала на молитву.

Вера ходила в чужих дареных сапогах, в чужих исподних рубахах: ей всё дарили, с поклоном приносили; сшили ей из чёрной ткани новую рясу — старая уже совсем истлела и порвалась, — сшила та тётка, бывшая пьяница, на той самой сломанной швейной машинке; машинку почи-

нили, колесо на неё вздели, шурупы подвинтили, челнок оказался исправен, и бойко тархтела машинка, как полвека назад, во время войны с фрицем и лютых лагерей, и шивала ветхий синий небесный ситец и белый зимний шёлк суровой инистой колочей проволокой.

Так шло время, и старилась Вера, и не страшна ей была старость её, потому что старость — это были дожди и метели, морозы и слякоть, ливни и выюги, пурга и бураны, ветра и льды, а это всё была великая жизнь, и жизни она не боялась, а приветствовала и любила её. В жизни могло совершаться небывалое и происходить давножданное. Жизнь была сплетена из непредсказуемых нитей и узнаваемых узелков. Таяла память, но просыпалось сердце, и многое Вера помнила чувством — чувство никогда не обманывало, не предавало. Не подкапывало, не крало. Не душило в питоньих объятиях.

Она всё яснее видела вдаль, и люди говорили ей: «Прозорливая!» — и становились на колени, и припадали лбом к её стопам. Она крестила людей и шептала: «Не стою я вашего поклоненья, я недостойная, я — одна из вас». И радовались, и веселились люди, что Вера — одна из них.

Вера предсказывала нахождение заблудившихся в тайге детей и скорую смерть бодрых здоровяков; она предсказывала северное сияние над Енисеем и чудесное возвращение царей-осетров к берегам Маны. Предсказывала, что с небес в тайгу упадёт громадный чёрный камень, и камень падал, ярко-раскалённый, и пожигал вокруг себя деревья; а потом, остывнув, чернел и выглядел цветом как хобот смерча, что налетел из Саян. По её знаку люди усыновляли сирот и уходили в семинарию — учиться на священников; женщины, которые слыли бесплодными, зачинали и рожали; и Вера сама нарекала детей и, хоть права на то не имела, за отсутствием в таёжной обители священника совершала сама обряд крещения. Да тут появлялись и батюшки; то расстриги, то те, кто отучился в городе, то те, кто узнал о таёжном дерзком ските и являлся сюда, смущаясь, с просьбой: «Примите меня!» Его принимали.

Однажды появился человек, седые волосы всклокочены, на башке то ли скуфья, то ли старая пилотка, в одном ухе серьга, другое топором обрублено, вместо рясы — землю кафтан метёт, может, в оперном театре из костюмерной ста-

шил. «Как тебя зовут?» — спросила Вера. «Алёшенька!» — придураясь, зверино скривился мужичонка, сморщил нос. Вера закрыла глаза, и белым бледным прибором времени захлестнуло её загорелые на енисейском солнце щёки. Мужики потихоньку строили святые дома: сперва — часовни в честь Божьей Матери Казанской, в честь великомученицы Екатерины, потом — и деревянный маленький храм возвели. В честь кого храм-то будет у нас, так спросили Веру. Вера недолго думала. Улыбнулась и ответила: «В честь Алексея, человека Божьего».

Во храме служили службы, всё честь по чести. В синие густые, как сметана, великие морозы вечерами собирались в домах — то в одном, то в другом; дети обителю очень любили эти вечерние посиделки, просили взрослых о сказках, о страшных историях, и матери, и бабушки рассказывали им, как святых, чьи имена дети носили, мучили и терзали цари и короли, и как стойко святые все муки терпели, и в котлах с кипящим маслом, и на дыбе, и на костре, и на кресте, и под плетями, и как из окровавленного рта доносилась только хвала Господу: «Христе Боже, спаси и помилуй мя!» А однажды нагрянули стражи порядка, и испуганно глядели дети на фуражки и погоны, на начищенные сапоги и чёрные куртки, и кричали на всю заимку стражи: «Разогнать! Снести! Разрушить! Сжечь! Не положено! Штраф! Всех в тюрьму!» — и вышла к стражам Вера, раскинув широко руки обочь спрятанного под рясой худого тела, и громко, на всю тайгу, обратилась к пришельцам: «Только вместе с нашей обителью — и нас всех убивайте и сжигайте!» — и, когда люди услышали это и увидели строгое твёрдое лицо Веры под туго завязанным апостольником, убоялись они выражения её лица, слишком страшным оно было — таким страшным, что и не человеческим вовсе, а небесным ликом: так вселенская гроза молнии рассыпает из чёрных могучих туч.

Стражи порядка укатили прочь на машинах и мотоциклах. Один из батюшек увязался за ними в Красноярск на попутке. Вернулся, гладил бороду: «Живите спокойно, братья и сестры! Не тронут нас никого!» Кого уж он там, в городе, улестил, каким властям в ноги поклонился — никто не узнал, батюшка — рот на замок, а Вера не спрашивала, только подошла

под благословение и морщинистую руку батюшке тихо поцеловала.

Во всякую избу на заимке заходила Вера, и везде старались угостить её повкуснее, да мало и скудно ела она, все меньше ей требовалось земной еды. Она молилась, глядела в небо. Наплывали из иных земель облака. Громоздили, переливали бирюзовые, жемчужные небесные воздушы. Умирили насельники, Вера их хоронила, и все вместе с ней пели над гробом панихидные молитвы, и батюшка возжигал ароматы в кадиле, сделанном из рыбацкого котелка, а окрестные кедры и елки пахли сильнее и гуще святого дыма, и прибывало могилок на маленьком лесном кладбище близ заимки, и думала Вера: «Вот и ещё один... ещё одна... Господи, прими с миром душу живую; тело мертво, но ведь душа-то жива, и взыскует Страшного Суда, и верит, и ждёт».

Предсказала Вера однажды пожар, и правда, загорелся на заимке овин; там насельники сушили не только снопы, но и сено, скоту в зимний запас. Воды много, да Енисей далеко, не потушишь, на реку не набегашься! Вера закричала: «Песок несите! И мокрые одеяла!» Мочили одеяла в воде и набрасывали на пламя; засыпали огонь песком. Спасли заимку! Не перекинулось на избы пламя. Все люди на колени встали и молились на Веру: «Ты чудо совершила!» Вера прижимала палец ко рту: «Никогда не говорите так. Бог спас».

Насельники, все до одного, стремились услужить Вере: кто — выстирать ей рясу и апостольник, кто — нажарить картошки на огромной, как шаманский бубен, сковороде, кто — нанизать на леску сухие ягоды рябины и подарить Вере чётки — тридцать три бусины по числу земных лет Господа, кто — сварить ей варенье из жимолости или из лимонника, или из брусники, кто — помыть полы в её избе: и мыли, дожелта отскабливали ножом и тёрли мыльной тряпкой, а потом в кувшины и трёхлитровые банки ставили купальницы и сияющие жарки, весеник и багульник, рододендрон и васильки. И благоухала Верина изба. И спрашивала она себя: «Господи, это ли не счастье!» И отвечала сама себе: «Господи!.. спасибо, что Ты подарил мне его. На все оставшиеся мне годы».

«Только бы не война, — шептала, — только бы не война».



ёт песню такую... ну эту, старинную... а, вот! Лучше нету того цвету, когда яблоня цветёт! Боря, Боречка, спой! Не стесняйся!» Зелёный попугай громко и картаво запел: «Лучше нету той минуты, когда миленький придёт! Как увижу, как услышу... — оборвал пение. — К-к-как увижу... ка-а-а-ак... ус-с-с-с... лышу... как...» — от стыда спрятал зелёную хохлатую башку под крыло. Продавщица зарделась: «Ну, Боречка, ну что ты стушевался! Тётя тебя не обидит! Тетя тебя сейчас купит! Правда?» Вера развела руками: «Простите. У меня нет денег. А вот дети у меня есть».

Да, у неё была целая заимка детей. Как бы они удивились на такого попугая!

И тут продавщица сняла клетку с полки и протянула Вере. Косилась на её черную измызанную рясу. «Вы, небось, в приют какой ходите?... с молитвами?... в детский дом?... Да, там рады будут... возьмите!» Вера обняла обеими руками клетку с попугаем.

А на улице валил снег, шёл прозрачно и густо, а потом еле видно, невесомо, серебряные тончайшие нити прошивали серый воздух, дымы и гарь, протыкали близкую ночь гудки и звонки трамваев, разрезали визги машин. Некуда было идти Вере, негде было ей ночевать: о квартире своей, откуда она тысячу лет назад ушла в Иерусалим, она и думать не хотела, да и не было просто этого бедного жилья: зачем о нём и вспоминать, только сердце надрывать. Давно дверь взломали, все её милое, родное на снег выкинули, иные люди заселились в весёлый лёгкий воздух, которым она дышала. Жизнь! Всего лишь жизнь. «А если бы я умерла, — думала Вера, — ведь некому тогда сокрушаться о потерянном жилище!» Пусть люди живут там, где она жила! Пусть о ней не думают. Они ведь её не знают. И никогда не узнают.

Заморозник усиливался, ночь уже обрушилась на город, созвездия вышили небо гладью и крестом, и Вера вспомнила, как она вышивала свою старую, ещё материнскую думку. И думку выкинули, а может, сожгли. А может, сейчас на ней кто-то спит? Под щеку подложил? Ох, хорошо бы! Хоть что-то останется после неё!

Чёрный крест. Красный крест. Гляди, не перепутай.

Она прижимала клетку с попугаем к груди, к тонкому зипунчику, подшитому козьим мехом.

Снег залетал в клетку, вызвездил её золочёные прутья. «Замёрзнет, — думала Вера тревожно, — замёрзнет как пить дать». Вот и повеселила детей. Надо в тепло. В укрытие. Снег и ветер — это война. Жёсткий снег летит, стреляет, бьёт в лицо из-за угла. Вера огляделась; все дневные заведения были закрыты, а ночных она бы никогда не нашла. Ангел денный, ангел ночный! Помогите мне! Где вы!

Она из раструба улицы вышла на площадь. Огни обняли её и закружили. Фонари качались и плясали, окна вспыхивали, плыли во тьме яркими лодками, и люди, далеко и глубоко, плыли в них, переплывали время. Снег повалил сильнее, заволакивал прозрачным белым кружевом гранёные стаканы фонарей, и Вера чуть не заплакала — снег привиделся ей кружевами покойной Анны Власьевны, и услышала Вера лёгкий деревянный стук коклюшек, костяшек: это отстукивало мгновенья время, а кружева лились с чёрных нефтяных небес, обкручивали, обвивали раненых любовью и болью, бинтовали им раны сквозные, рваные, целовали мятым детским, праздничным холодом.

И вдруг — раз, два, разошёлся в обе стороны плотный морозный воздух. Мягкий медовый свет, полусфера огня, и скос старой забытой мостовой, и в круге света стоит каменный стол, а за ним люди сидят. Сослепу да издали не разглядела Вера, что за стол и что за люди. Даже и не подумала, почему не в доме, а на улице за столом расселись. Подходила всё ближе, ускорила шаг, крепче клетку с дареной птицей к сердцу прижимала. Вот уже стала различать за каменным грузным столом лица. Метель поднималась. Взвихряла волосы женщин, кисти скатерти. Длинный стол, и в центре стола сидит человек. Руки его спокойно лежат на столе, ладонями вверх. Он сделал вдох, другой — так дышат дети после плача. Вера сама так прерывисто дышала, когда мать в детстве била её за провинность, и она часами рыдала в пыльном углу. Губы распухали, рот наполнялся горечью. Это другая была Вера; не она. А по обе стороны от человека — люди. Гости! Это он, видать, хозяин, всех гостей созвал. Что-то он гостям такое сейчас сказал! Будто выстрелил в них. Слово — пуля! Кому в грудь попало? А они, люди-то, отвечают хозяину — не ртами, не глоткой: жестами. Руками! Пальцами! Сложенными

трубочкой губами... Свистнуть хотят, дышат, как говорящие птицы... Кто руки лодкой сложил... Кто — ладонь вперед вытянул, желая спросить... а может, доказать... О чём они? Вера не слышит. Надо подойти ближе. Ближе.

Она сделала шаг, другой вперёд — да так и застыла, с клеткой в руках, с птицей, кою посекал призрачный железный снег.

Справа от хозяина сидели трое. Мужик бритый, а щетина на скулах седая, и лоснится потом сморщенный лоб, череп — овалом каменного яйца, а руки почернели от работы, будто бы их коптели на коптильне, как хариусов или свежельовленную кумжу. Женщина, лоб туго обвязан красным платком. И кофта красная расстегнута, и видны в вороте шея и грудь, и черный потертый гайтан, и морщины, они текут по груди, как дождь или слёзы с подбородка. И третья, баба, тут же, вплотную к ним сидела; три красных язвы чуть ниже рта, будто три красных клеща по скуле сползают. Три родимых пятна! Их Вера сразу узнала.

А после узнала и мужика, и бабу в красном платке рядом с ним.

Узнала — и содрогнулась. Её отец и мать.

И тётка её — та, что в Лесосибирске жила.

Трое... троица... живая... Почему у отца на лбу — колючего венца нет... той метки Туруханска...

Вера застыла. Снег бил в неё, как в бубен. Отец, Емельян Сургут, смотрел и не видел её. Мать, Дарья Сургут, ту же затянула красный платок. Вера видела всё. Она видела, как мать ближе придвигает к себе стакан, как отец тяжело, натужно тянет руку к обклеенной аляповатыми этикетками бутылки, и тёмно-алая жидкость вырывается из горла и страшно булькает, льется в пустой ледяной стакан. Доверху стакан налил. Щедро. Тётка из Лесосибирска поглядела и облизнулась.

Слева от хозяина сидели тоже трое. Вера даже не щурилась. Глаза её обрели речную, прозрачную зрячьсть. Узнала! Родные! Какое половодье, безумье какое... Живые! Анна Власьевна, душечка, кружевница моя светлая! Спасибо, такой нежный снег мне навеки сплела! Старушка Расстегай деловито отламывала от куска, лежащего на расписной тарелке, маленькие кусочки и весело отправляла их в рот. А что на тарелке? Пирог! С чем?.. с чем... не различить... с красной ягодой такой... кровавой...

А третья, кто же третья?.. А... узнаю... та медсестричка в столичной больничке... сестричка-птичка... уколы мне все делала, когда меня раненую с улицы в палату привезли... укол сделает — и по руке погладит, и всё приговаривает: «Не больно?.. Не больно?..» «Нет, — говорю, — не больно...» Она меня — кашей из ложки кормила...

А рядом с родителями Веры сидели ещё трое. И тут парадом командовал мужик. Бритый зэк, на волю отпущенный. И стол тряся, как будто не площадь под ногами, а пол вагона, и поезд идёт вперёд, колёсами стучит. Это он, зэк лысый, ловко вино разливал. И люди кто что мог подставляли. Кто чашку. Кто плошку. Кто мензурку. А кто просто руки свои. Складывал живой кастрюлькой и протягивал. И пальцы плотно сжимал. Ни капли не выльется.

Второй-то — со змеєю восседал! С громадным питоном, весь в пятнах змей, как яростная яшма, а уж скользкий такой, и блестит, будто выкупанный. Жирный, может? Вера помнила гладкость чешуйчатой страшной кожи. Она проводила по ней трусливой ладонью и тихо смеялась. Циркач, смелый Валя, змеиный царевич, и ты здесь, за столом! А, у тебя уже налито вино! Куда? В миску, из неё же питон твой ест! Все живое ест из одной миски. Не забудь.

А третий, третий... ох, волна поднимается... и сейчас опять, опять смоеет тебя с палубы — в зелёную пропасть... Алёшенька!.. Вижу тебя, да ты хоть скажи мне, как там, на небесах?.. Ангелы поют тебе, монаху-расстриге, свои лучшие, счастливейшие песни?.. Ты коньяка хочешь, одесского?.. Нет, сегодня только вино... Куда тебе налить?.. В эту битую рюмку больную?..

А подале святых старух и святой молодухи сидела ещё одна троица, да какая! Всех, всех узнаю, дорогие! Сестра Васса, щебетунья смешливая, ничуть ты не изменилась, всё такие же хулиганские солнечные веснушки у тебя на носу! Борода ты чёрная, ветрами кручёная, Липа Гузман, серга морская в ухе, подпусти сибирскую матерщинку, да разве ж ты откажешься выпить на дармовщинку! Праздник есть праздник. Матушка Мисаила, древняя ты старуха, ещё шажок, и схимница, прости меня! За то, что я твоих молодых смертных мук в том турецком весёлом доме не знала, не приняла. Да мы с тобой обе грешницы. И мы с тобой обе — грех наш — давно отмо-

лили! На всех исповедях! Липа, разливай! Вон они, монастырские чашки, жадно под сладкую кровь подставлены!

Двенадцать... двенадцать...

Веру как стукнули тяжёлым кулаком в грудь. Она покачнулась. Клетку из рук не выпустила. Двенадцать, как она сразу не поняла! И хозяин — это...

Она встала в снег, на засыпанную твёрдой крупкой снега, как енисейскими перлами времён Ермака, в судороге веков выгнутую мостовую перед Господом на колени, и попугай из клетки внезапно резко крикнул, как новорожденный младенец, на всю площадь:

— А-а-а-а!

А потом — человечьи слова сумасшедше, хрипло прошептал:

— Вся душа моя плачет! Вся душа моя горит!

И все, кто мог за каменным тяжким столом наливать вино, все всем наливали; люди подставляли стаканы и бокалы, пригоршни и чашки, мензурки и собачьи миски, и даже шапки, и даже трухи и кепки; только Вере одной нечего было под живое вино подставить. Лилась кровь Господня, изливаемая во оставление грехов, и глаза Веры жадно шарили по столу: кровь-то тут, наливают, от души, а где же хлеб, где же Тело Христово, без него же никакого Причастия нет и быть не может, хлеб!.. хлеб... Дайте хлеб! Разломите хлеб! Бросьте его на каменный стол. Это самая великая милостыня! Война начнётся — никто вам его, хлеб, уже не бросит! Ни под ноги, ни в руки... не спрячете за пазуху...

И видела Вера: не только двенадцать сидели за каменным столом; и призрачный, косо падающий снег не только над головами сидящих складывался в многогранники, виноградные грозди, корабли с парусом в виде месяца, медленно плывущих серебряных рыб, трепещущих крыльями смелых голубей, звёздные якоря, сверкающие венцы, плывущие среди планет монограммы, вольно летящих орлов, катящиеся во мраке черепа необитаемых планет, треугольники, стрелы, восьмиконечные звёзды и иные восточные тайные узоры; за ними сидели и вставали рядами другие люди, они всё прибывали, и рыбаки с Енисея, и торговцы с жарких улиц Иерусалима, и старуха Лиза из деревни Верхний Услон близ широкой индиговой Волги; и загорелые, со злым

прищуром, солдаты посреди сирийских руин, в пыльном пятнистом камуфляже, и оркестранты, что восторженно били смычками по пультам, когда в зале публика хлопала в ладоши, и холодно, сурово молчащий за ресторанным столом, до фарфоровой гладкости выбритый Н с беспомощными глазами нашкодившего ребёнка, и кудрявая сестра Веры Марина, её убил муж, когда она у мужа хотела украденную дочку назад похитить, и поросячье лицо Марины в застолье глядело живое, не разможенное пулями, и смеялось густо, ярко накрашенным ртом. И много всякого народу ещё стояло за плечами и спинами тех, кто сидел за столом, много всех толпилось и качалось штормовыми высокими волнами, но все обступали стол тихо, никто не шумел, не гудел, не бушевал, не буянил; не выкрикивал слов шутки или проклятья.

Вера обвела всех глазами. Это всё был её народ. Посланный ей Богом на земле.

Тогда кто же такой маленький говорящий попугай, что пришипился, нахохлился и смиренно, печально сидит в золоченой клетке, посекаемый безжалостным ветром и снегом?

Может, его надо родным мертвецам и родным живым — просто — подарить?

В знак... в знак любви... и — памяти...

Птица, она же восстает... из любого огня... оживает...

После любой войны... любой разрухи... птица — на площади... на пепелище...

Феникс...

— Это Феникс! — крикнула Вера и сделала отчаянный шаг вперёд.

Протянула золотую клетку сидящим и стоящим за каменным столом.

Поставила клетку на край стола.

Попугай чирикнул, как соловей.

Вера крикнула беспомощно:

— И мне!.. и мне...

Озиралась. Искала глазами пустую посудину, для вина безумного зимнего Причастия.

Посудины — не было. Ни рюмки. Ни наперстка.

Тогда из-под стола вышла, качаясь на слабых лапах, тощая рыжая собака. В снежном свете она светилась как золотая. В зубах собака держала за дужку старое, ржавое детское ведёрко. С таким ведёрком Вера девчонкой играла в песочнице.

Вера вынула из собачьих зубов ржавую дужку. Протянула детское ведёрко отцу. Он сидел за столом всех ближе к ней.

И отец стрельнул глазами в Веру из-под голубого лба, где кожа сбиралась старой гармошкой; взял в узловатые, от грязи чёрные пальцы бутылку — в ней вино не кончалось, и плеснул молча в детское Верино ведро не глядя, резко, жестоко, — и пролилась кровь Господня на камень столешницы, и все за столом, близкие и далёкие, взяли в руки свою посуду, кто первую, кто последнюю в жизни, а хлеб, где же хлеб, как же Причастие — и без хлеба, билось у Веры в висках, хлеб, хлеб где...

— У тебя! — визгливо крикнул ей попугай.

И Вера полезла за пазуху, за воротник козьего зипуна, и потрясенно вытащила под снег и ветер жёсткую горбушку — ту самую, что люди бросили ей под ноги в концертном зале, желая над ней насмеяться. Разломилась надвое. Одну половину подала отцу, другую — матери.

И разломилась мать и отец Веры её хлеб, и передавали другим людям, а те ломали куски в свой черед, и другим отдавали, а те — третьим, четвертым, а те — сотням и тысячам, во тьме сушим.

И Господь поднял руку и благословил всех за Вечерей Своей.

Весь Свой народ — благословил.

— Примите, ядите...

Когда Вера наклонилась и испила вина из детского ведёрка, оно ударило ей в голову и опалило душу. Попугай глядел на Веру из призрачной клетки круглым золотым глазом.

Белые кружева мели, метались во тьме живой и заматали всех: и грешников, и святых, — укутывали то ли в родильные простыни, то ли в смертный саван.

\* \* \*

**Н**а святой заимке не читали газет, не смотрели телевизор, не слушали радио.

Детей учили грамоте по старым книгам. Складывали и вычитали на старых бухгалтерских счётах. Электричества не было: в сумерках и в ночи жгли лучины и свечи. Иногда жгли сушёную миногу, и на всю избу солёной рыбой пахло, её горящим жиром и жжёными плавниками.

Люди жили тут как в Раю: деревья, травы и

цветы росли, тайга шумела, музыкой гудел кедрач, пихты и старые лиственницы, поспевали овощи и ягоды, колосилась пшеница на крохотном поле — его вспахивали старинным плугом, — ржали в конюшне лошади, мычали в хлевах коровы, и слишком рядом была земля, и рядом — река, а ещё ближе — небо, и иногда Вере казалось: вон он, Град Небесный, её любимая обитель, — над ней, в зеркальных, сияющих сколами и друзьями, медленно падающих прямо в сердце облаках.

Газет не водилось, а слухи доходили. Однажды осенью слух прилетел про знаменитую столичную певицу. Утонула, а поговаривают, утопили, а ещё вернее, её любовника в убийстве заподозрили да взяли-арестовали, руки скрутили, в тюрьму посадили. Да не в тюрьму, а в изолятор! Что ещё за изолятор? Под следствием он. Наследил! Да уж точно, виноват. Из ревности утопил-то? Да кто его знает, однако! Однако из ревности! Из-за чего же ещё! Мужик, баба, любовь, злоба... звери, звери люди все...

Вера выпрямилась, слушая тот слух, и стала похожа на каменную статую той своей любимой мёртвой рыжей собаки. Как звать певицу? Вы не помните?

Как же не помним! Очень даже помним! Ну, эта... очень-преочень знаменитая! Громыхало везде имя её! Со всех сцен! Все радио ею захлебывались! Ну эта... эта, да ты, матушка, наверняка знаешь... На «зэ» вроде... зэ-зэ-зэ... Зиновия звать её!

Вера плотно сжала губы. Окаменела лицом. Отвернулась. Пошла. Остановилась.

Внутри неё раскрылось ледяным бутонем молчание и тихо, мучительно-медленно раскрывалось, как бедный, на пепле взошедший цветок.

Ни слова Вера не проронила весь день. К ней обращались — молчала. Ей в лицо кричали — молчала.

Ночь она не спала.

Утром к ней опять приступили; она молчала; и её оставили в покое.

Люди сочли, что она дала обет молчания.

И заужавали её, благоговейно склонялись перед ней; шептали вслед ей: «Ты уж выдержи, матушка, обет... Тяжёлый он, да мы за тебя помолимся».

\* \* \*

**В**ера молчала день, месяц, полгода, год.  
К её молчанию привыкли.

\* \* \*

*Я стояла перед каменным этим столом —  
не соврать, стояла.  
И скатёрка свисала до полу  
снежным саваном, одеялом  
Истонченным, ребячьим,  
века назад папиросой отцовой  
поцелованным прокажённо, —  
Камчатной, фарфоровой жизнью,  
чугуном и жидкой сталью сожжённой.*

*Я стояла перед этим святым столом,  
себя спрашивала: верить? не верить? —  
Все мы лишь Божьи слуги,  
лишь на побегушках весёлая челядь,  
Так-то лучше: Царей казнят,  
а мы встанем в ряд, и ничего нам не будет, —  
Мы не боги, мы так, при дороге, мы беглые люди.*

*Я стояла... а Хозяин на меня вдруг как покосится!  
И я задрожала, бормочу:  
— Господи, мне все это снится —  
Вон, живы отец мой и мать,  
вон друзья мои, а их убили,  
Вон лица любимых,  
погребённых давно в лютой серебряной пыли!..*

*А они тут все, за столом  
Твоим, великий мой Боже.  
Ты к Причастию нас созвал, и пришли напролом, —  
а слишком поздно, может?..  
Наготовлено нами на кухне железной рыбы,  
стального мяса...  
И все врем мы сами себе, что не знаем часа!*

*Так зачем Ты рабочей рукой, как клещами,  
сцепляешь со сладкой кровью бутылку?!  
Зачем кричишь мне: «На выход! С вещами!» —  
и в руках Своих меня трёшь обмылком?  
Зачем отщипнул кроху от площади,  
от зимнего каравая,  
И тычешь мне в руки, и плачешь:  
«Душа твоя, она живая, живая!»*

*У Тебя на небесах все живы, я давно это знаю.  
Хоть перережь все жилы —  
а смерть, она мне неродная.  
За ночь одну до Распятия Ты сказал нам:  
вкусите Меня, выпейте, растащите  
На крошки, на пуговицы, на глотки, на хрипы,  
на теста комки,  
на знамена с кистями, на рьяные песни,  
на красные пьяные нити...*

*«Из жизни Моей, — Ты сказал, —  
вы себе тысячу жизней сошьёте.  
Над жизнью Моей, — Ты сказал, —  
вы, истошно крича,  
умрёте в любви и полёте!»  
Так что ты стоишь, девчонка?..  
Давай!.. налетай!.. Боли полная чашка!  
И вымазана вольным вином  
невинной вьюги рубашка!*

*И хлеб тёплый ещё... откуси... вдохни...  
...Запах рубахи отцовой.  
Запах варенья матери в медном тазу.  
Запах соломы, половы.  
Запах мёда и рыбы печёной. Тайная Вечера длится.  
А на краю стола в клетке нахохлился  
Феникс, зимняя птица.*

*И Ты, Господь, смеясь,  
открыл золочёную дверцу клетки.  
И Ты сказал: лети, птица Феникс,  
шалава, шутиха, кокетка!  
Лети, шматок золотого огня,  
попугай, правду лишь говорящий,  
В мир Божий, ни на что не похожий,  
слепящий, грешный, святой, настоящий.*

*И я причастилась.  
Вином запила благодать зимнего хлеба.  
И мать моя мёртвая,  
и мой отец причастились зимнего неба.  
И люди все за столом  
каменным, земляным причастились  
Тела Господня и Божией Крови,  
Вкушая хлеб, выпивая вино,  
забывая друг друга давно,  
засытая на полуслове.*

\* \* \*

Ровно год спустя Вера сидела на берегу Енисея, у самой воды. Она молчала, внутри себя читала Иисусову молитву. Сидела на большом грузном гладком валуне, опускала руки вниз, и пальцы её слепо ловили камни на песке, то острые, жгучие, ножевые, то нежные, глаже женской ухоженной кожи. Енисей тек мерно и мощно, серые воды клубились и размылись, тёмные и серебряные рыбы металась тенями, являлись потусторонним воинством подводным. Топырили плавники копьями, штыками винтовок. Взблёскивали безумными секирами хвостов. Исчезали. Хоровод лиственниц, пьяно-кривых от северного ветра, махал пожелтелыми скорбными ветвями. Река дышала близкой зимой, неизбежным прощанием. С чем? С кем? С навсегда возлюбленным, единственным? Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешную. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешную. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий... За спиной Веры послышались шаги. Камни хрустели под чужими ногами. «Из насельников кто-то... Вечерет, холодает, меня, матушку, сейчас домой уведут. Может, дитёнка за мной послали».

Вера обернулась и прижала ладонь ко рту.

Зиновия надменно глядела на неё.

— Вот ты где. Спряталась. От людей. На реку глядишь. Гляди, гляди! Река, она...

— Здравствуй, — трудно сказала Вера и легко встала с валуна.

Тяжко было говорить после года сумрачного молчания, промелькнувшего как один миг.

— Здравствуй! — крикнула Зиновия.

Эхо разнесло её крик вдоль по реке.

— Что ж ты не удивляешься? — ядовито спросила Зиновия.

— А чему я должна удивляться?

— Что я жива!

— Значит, это все был обман?

Зиновия глядела на Веру глазами круглыми, совиными, торжествующими. Её зрачки метали чёрные искры, а всё лицо горело мрачным костром.

— Да! Обман!

Ветер собакою лизал лицо Веры.

— Зачем?

— Это я всё устроила! Все так подстроила! Думаешь, легко было всё состряпать?! Но я состряпала. Мне — помогли! Он, гад, за решёткой. Теперь с тобой разберусь!

Зиновия шагнула к Вере, а Вера стояла столбом. Каменным столбом. Соляным. Деревянным.

«Я осенняя лиственница, а это мой последний ветер».

— Это война? — тихо спросила Вера.

— Да! — крикнула Зиновия. — Война!

— Не ведаешь, — трудно, хрипло выдавила Вера, — что творишь...

— Очень даже ведаю! Я тебя — ненавижу! Все тебя любят, все тебя любили всегда, а я тебя ненавижу!

— За что? — прошептала Вера, и северный ветер ударил ей в скуластое лицо.

— За то, что любят — тебя! Всегда! Любили! Тебя! И когда ты пела, и когда молилась! За то, что песни твои — лучше моих!

— Лучше... хуже... зачем...

— Да! Лучше! Нет! Вру! Не лучше! Мои — лучше! Я — яркая, сильная! Меня издалека видно и слышно! А ты, ты... серая мышь! Мышенька ты! Нищенка! Дрянь ты умоленная! Сволочь ты! Возомнила себя ангелицей! Святой! Никакая ты не святая! Серость ты и блеклость! Зола ты от костра отгоревшего! Мертвячка! Душонка твоя подлая, хищная! Меня охотала, ко мне примостилась, подлизалась и, как я, певичкой стала! Людскую любовь, людской восторг и восхищение захотела в лукошко собирать! И к Богу ты метнулась — потому что сама нищая мышь! Не драгоценный камень ты! А серый булыжник! И песни твои — тьфу! И молитвы твои — ха, ха! Ненавижу!

Вера подставляла холодному ветру горячее лицо. Приоткрыла рот.

Ей трудно было говорить. И всё-таки она говорила это.

— Зина... Ты... Это — зависть! Ненависть — это зависть!

— Да что ты говоришь! — Зиновия подбоченилась. Волны злобы морщили её красивое,

холёное лицо. Оно у неё не состарилось за эти годы, только двойной подбородок, как у дородной царицы, вырос да чуть обвисли румяные круглые щёки. — Да что ты мелешь, мышшь! Это ты мне завидуешь! Люто! Ещё когда мы пели вместе и выходили на сцену, все так и шептались вокруг: вот, вот они выходят и поют, как сёстры, похожи, и поглядите, как эта монашка-хромоножка с ненавистью смотрит на великую певицу, ну да, серая монашка — великой Зиновии — яростно завидует! Великая Зиновия бессмертна! А эта серая мышшь в рясе, что она-то делает рядом с ней?! Поёт?! Это она только думает, что поёт! А на самом деле хрипит и квакает! Все вокруг говорили, вся публика, весь народ, что ты мне завидуешь чёрной завистью! Мне! Яркой и гениальной! Мне! Я бессмертна! Да! Бессмертна!

Ветер тихо стонал между ветвей осенних лиственниц и чёрных кедров.

— А ты... ты сдохнешь! Помрёшь под забором!

Енисей тихо гудел, шелестел за их спинами.

Раскидывал громадные, серые водяные крылья.

И облака за их лопатками воздымались крыльями; и ветер хотел поднять, оторвать их, людей, от земли.

— Святая мышшь! — выкрикнула Зиновия.

Вера молчала.

— Мышь никчемная! Никому не нужна! Отрежь! Мусор человеческий! Тебя забудут! А меня будут помнить всегда!

Вера молчала.

— Чёрт меня к тебе понёс тогда в Иерусалим! Лучше бы я в тот клятый Иерусалим и не ездила! Мне тебя гадалка нагадала! Перед отъездом я к гадалке пошла! Сдуру! Она мне карты разложила! И перед зеркалом свечу зажгла! А в зеркале — ты! Мышь! Вот в этом своём чёрном платке дурачком! И гадалка в зеркало тычет пальцем и шипит: вот к ней, к ней должна далеко ты поехать, за три моря, в Святую Землю! Поехала, чёрт тебя возьми. Поскакала!

Вера молчала.

— А я-то ведь только сейчас поняла! Да! Только сейчас! Ты — мой двойник!

— Кто... — разжала губы Вера.

— Ну разве непонятно! Мы же похожи, чёрт, как сестры! Да нет! Даже хуже! Ты когда-нибудь в зеркало со мной вместе гляделась?! Ещё скажи никогда! Да сто раз! Тысячу! Ведь ты — это я!

Зиновия схватила за руку Веру. Другую руку сунула в карман плаща. Выдернула круглое карманное зеркальце.

— Гляди!

Зиновия приблизила лицо к лицу Веры. Ветер усиливался. Сорвал шляпку с затылка Зиновии, трепал концы Вериного апостольника.

Зиновия вытянула руку с зеркальцем. Прижалась холодной гладкой щекой к щеке Веры.

— Гляди, мышшь!

Вера заглянула в зеркало.

Она знала, что увидит в нём.

Увидела два одинаковых лица.

Себя — и себя.

Смотрела в оба своих лица, и вереницей, чудовищным веером раскрывались, распахивались картины их общей жизни, Вериной-Зиновьиной: глядел со дна времён утопленник-сын, звучала музыка, поднималась и рушилась волна оркестра, как великанское рыданье; и гладили Верины руки Зиновьино бельё на широкой, как льдина, гладильной доске, и несли чужие восхищенные руки на сцену громадные, с целый дом, букеты цветов, розы, гвоздики, тюльпаны, гладиолусы, нарциссы, и чужие послушные руки складывали бешеные, дурманские цветы в пахнущую горьким бензином машину, и набрасывала Зиновия удавку на Верину шею, хрипела глотка, летел в лоб и губы первый нежный снег, горели по всей Москве фонари, сиял коньяк в графине, и стелили усталые руки постель, и клали руки дрова и хворост в богатый камин, отделанный зелёным, как Енисей, и алым, как флаг мертвой страны, надгробным мрамором, мужская выхолонная рука брала женскую рабочую руку на уставленном заморской снедью ресторанном столе и сжимала, как рюмку пустую, приближались к микрофону поющие губы, летела песня, как живая молитва, а молитва становилась любовною песней, так и было в начале времён; — Вера ждала, когда веер схлопнется, и он захлопнулся, свернули его в

тонкую полоску, в древесную сухую ветку — одним движением, резким, бесповоротным.

— Ты меня убьёшь? — просто спросила Вера. Стояла. Не убегала. Не спасалась.

— Я не тебя убью. Ты ж понимаешь. Я — убью — себя. Всё, как я и хотела. Когда утонул мой сын. Я хотела — себя. Теперь у меня получится!

— Это твой Страшный Суд! — крикнула Вера. Ей или себе, это уже было всё равно. — У каждого свой Страшный Суд! И у тебя он будет! Сейчас!

Зиновия шагнула к Вере.

Её руки были пусты.

Ничего не было в руках Зиновии: ни удавки, ни ножа, ни пистолета, ни иного оружия.

Смерть она не держала в руках.

Она держала в руках пустоту.

А за её плечами гудела и пела ледяная вода.

«Вода, — поняла Вера, — Енисей».

Зиновия шагнула ещё — вплотную к Вере, схватила её обеими руками, обняла. И потащила к воде.

Вера шла, ноги сами шли. «Куда иду? Надо бороться». Она шла покорно, не говоря ни слова.

Им было слышно дыхание друг друга. Они вошли в воду. Холод ожёг их ноги сквозь все чулки и юбки.

— Что ж ты не вырываешься? — шепнула Зиновия. — Тебе не хочется жить?

Они уже зашли в воду по колени.

Вера молчала.

— Это ты или я? Кто из нас сейчас утонет?

Вера молчала.

Над вечерней сумрачной, волчьей рекой пискляво, тоскливо кричали чайки.

Зиновия и Вера уже зашли в воду по грудь.

И тут дно вырвалось из-под их ног, и полетело вбок, и они полетели вместе с водой и землей, взявшись, как сёстры, за руки; и Вера запомнила напоследок: рука другой женщины закидывается ей за шею, больно гнёт, потом её грубо толкают в спину, она валится лицом в воду, бьёт ладонями по воде, пытается выплыть, ловит заполярный, хрустальный ветер жадным ртом, ловит ещё живыми руками встающие золотой закатной стеной могучие

облака; а ей тяжёлую руку на темя кладут и топят, чтобы скорей захлебнулась, вталкивают, младенца, опять в мрачные и кровавые родовые пути, вдвигают её обратно в холод, в мрачную последнюю осень, в близкую зиму, во тьму, что велика и беспредельна, нет ей конца, да и начала ей тоже нет.

**ВИДѢНІЕ ГРАДА СВЯТАГО  
НЕБЕСНАГО ІЕРУСАЛИМА  
МАТЕРІЮ ВЪРОЙ,  
МОНАХИНЕЙ  
ГОРНЕНСКАГО ЖЕНСКАГО МОНАСТЫРЯ  
НА СВЯТОЙ ЗЕМЛѢ**

...И огонь жадно пожирал всё, что мог пожрать, и гудел, и страшно кричали люди — те, кто ещё мог жить и кричать.

Вера лежала рядом с горящим автобусом. Над ней сгорбилась Зиновия.

Ожоги вспухали на лице Зиновии, на руках. Она беспомощно оглядывалась. Люди орали и ползли вон от автобуса, все в саже, ожогах и ранах.

Зиновия била Веру по щекам.

— Вера! Верочка! Очнись!

Вера лежала на асфальте, испятнанном кровью, лицом вверх, молчала.

Зиновия выдернула из кармана дамское зеркальце, прислонила к губам Веры. Зеркальце запотело.

— Верочка! Ты жива! Господи! Слава Богу!

Люди кругом вопили:

— Война! Война! Смотрите! Смотрите! Это началось!

Зиновия подняла вымазанное кровью и землёй лицо и посмотрела вверх и вдаль.

Над городом, который они обе покинули так недавно, вставал невиданный огонь. Пламенный гриб медленно раздувался.

— Не смотрите туда! Вы ослепнете!

Глухой гул стоял вокруг, земля превратилась в горящее небо и звучала, стонала.

Дома поблизости от дороги горели все. Зи-

новия ощутила дикую боль в левой руке. Покосилась: рука висела плетью, перебитая в локте.

Навстречу горящему автобусу по дороге шли дети. Они держались за животы и орали. Животы их светились, и сквозь кожу видны были кишки. Время от времени кто-то из детей падал на дорогу и затихал. Впереди шёл мальчик, он был выше всех ростом. У него из глазницы вывалился глаз и висел на нитке, и мальчик пытался запрокинуть его обратно под лоб.

Зиновия скрипнула зубами. Плюнула. Рот полон сажи. Работает одна рука. Она подхватила одной рукой Веру под мышку и тяжело потащила, поволокла.

— Потерпи... мышенька моя, Верушенька... потерпи... мы должны...

Зиновия бормотала, будто пела колыбельную.

Обожжённые люди отползали от автобуса.

День или вечер? Время исчезло. Оно потеряло смысл. Потеряло само себя. Нагие женщины валялись в придорожной канаве. Асфальт оплавился. Поодаль виднелась груда обугленных обломков. Зиновия подтащила ближе к обломкам Веру, всмотрелась и поняла — это искореженные, обожженные тела. То, что миг назад было людьми. Зиновия отвернулась, её вытошнило на горелую корку асфальта. Люди штабелями лежали на шоссе, машины валялись, как мертвые жуки, брюхом вверх, металл оплавился. Молчание сменялось страшными криками. Крики — хрипами. Потом молчание обрушивалось опять, и в полной тишине тонкий, жалобный детский голос плакал. Он пел последнюю песню.

Огненный гриб увеличивался, выросал над городом. Зиновия старалась туда не смотреть.

— Всё равно мы все умрем... зачем же тогда жить... зачем тогда мы все... жили... — заплакала. Заревела в голос, белугой.

— Зачем же тогда я тебя спасаю! Вера! Вера!

Горы призраками вставали со всех четырёх сторон. А может, это были хлопья сажи. Ветер развеивал дым и пыль взрыва. Раздувал костры. Облака наплывали, превращались в скалы и утесы. Зиновия смертельно хотела

пить. Воды не было нигде. Никакой. Ни капли.

— Пить... Пить... Господи...

Она подтащила Веру к разрушенной стене дома. Дом, жили люди. Где сейчас эти люди? Так же идут по дороге, как эти дети-призраки, и стонут: «Пить, пить...»

С рук Зиновии свисала сожжённая кожа. Сломанная левая рука болталась, как маятник. Зиновия смотрела в лицо Вере.

— Вера... Мы не уберегли... Это все-таки началось... теперь — покатится...

Зиновия сидела возле Веры на корточках. Потом встала, шатаясь. Мрачное небо горело. Облака горели. Громоздились пламенными торосами, сталкивались, плыли, расцеплялись. Снова склеивались, сливались. Зиновия стала ходить кругами вокруг лежащей на земле Веры, как лунатик. Она наклонялась и отрывала зубами куски кожи от своей правой руки. С обеих рук капала кровь. Зиновия вытерла руку о лохмотья юбки.

Зарево поднималось над Иерусалимом, но Зиновии это было уже всё равно.

Она не глядела туда.

— Там — распятие... там распяли... туда глядеть нельзя... не гляди туда...

Она уговаривала себя, как ребёнок.

Пахло машинным маслом. И бензином. Рядом горела машина. Бензин разливался по асфальту. Все сильнее хотелось пить.

— Боже... Господи... дай мне воды... воды...

Она бы встала на колени и хлебнула бензина, если б смогла.

В небе появились самолёты. Они обстреливали землю. Зиновия села на землю и пригнулась. Коснулась подбородком колен и закрыла затылок правой рукой. Боль в сломанной руке становилась всё сильнее. Надо было кричать от такой боли, и Зиновия закричала.

Ей казалось, что она кричала. Из её глотки вырвался жалкий хрип.

Времени не стало. Сумерки? День? Полночь?

— Господи... спаси нас... пошли нам дождя...

Пошёл мелкий черный дождь. Зиновия задрала голову, раскрыла рот и ртом ловила кап-

ли. Потом она встала на колени и пила воду из вмятины в расколоте камне.

Огонь, дым и немного воды. И так тяжело дышать. И Вера лежит, не двигается. Может, она уже умерла.

— Вера... Вера...

\* \* \*

...Она открыла глаза и ощутила, что лежит на подстилке, сшитой из огня.

Спина горела. Это сгорели её крылья.

Они сгорели и обожгли ей спину, и внутренности, и все, что было в ней живой нежностью и жизнью.

...Ничего не помнила. И — не понимала.

...Нет, немного припомнила: оглянулась, а на заднем сиденье — она сама. Сидит и усмеяется. Близнец. Глядит на неё. А она — на себя. Смотрят друг в друга, как в зеркало! Вот ужас, сказала она себе беззвучно, изыди, сатано!

...И только хотела перекреститься — как вдруг этот, Последний Огонь.

...А где сейчас-то она? Лежит? Или летит? И вдруг это пламя еще не последнее?

...Ужас весь в том, что — да, последнее.

...Ужас Последнего.

...Начать, и тут же оборвать. Рвется нить. Или её рвут. Врут. Сами себе врут.

...Бабочка. Она бабочка. Раскинуты крылья. Мрачные очи, золотые ободы. Бабочка умерла. Её выкинули в белый огонь снега, в форточку, в ночь. И она сгорела в белом пламени. Не дали долететь.

...Женщина тащит, тащит её в укрытие; забота и любовь, они ведь тоже последние, и как она раньше не понимала, а вот теперь поняла, даже без сознания понимала, — а теперь, в сознании, сама заботой и любовью стала, ко всем, да, ко всем, и к самым жалким и последним; да только её срезали, срубили под корень, под самый комель, она лиственница, крепкая железная сибирская лиственница, и на неё нашелся топор. Топор нашёлся — на всех.

...Сердце билось, колотилось, крыльями птицы трепыхалось, вот-вот зашебечет,

подстреленный говорящий попугай, слово последнее прочирикает: не мучь! Отпусти!

...Чёрный крест во всё небо. Широкий, тяжёлый чугу́н. Падает. На неё! На всех!

...Так болит? Почему так всё тело болит? Всё тело — ожог. Всю жизнь обнял огонь. И вымазал. И выжег. Огонь — небесный елей — помазал, благословил. Всё рождено в огне и в огонь вернётся.

...На короткий миг, равный веку, к ней пришло сознание. Она осознала Бога и себя, и последнюю войну, и судьбу. Сознание того, что произошло, подарило ей радость причастия, ужас бесповоротности и резкую боль навечного ухода. Не себя — всех. Она лежала спиной на земле, на горячих камнях, и не видела, как над ней, стоя на коленях, наклонялась Зиновия; она лежала вытянувшись, — так навтыжку стоят солдаты в строю, да она и была солдат, как любой монах, монахиня, всего лишь солдат огромной, бесчисленной армии Божией, она лежала-стояла навтыжку перед небом, приبلудная хромоножка, и широко, до отказа распахнув налитые болью глаза, она увидела над собой, перед собой небо, а в небе — в налезавших друг на друга, громадных черных, огненных облаках — огненный, светящийся Град.

Облака из страшных и мрачных вдруг сделались пухлыми, прозрачными, ясными, излучали весёлое сиянье. Они росли и таяли, и опять царственно возникали из пустоты. Небесный ветер медленно, радостно нёс их по великому простору, и своими призрачными вершинами они уходили в надмирный зенит.

Вера смотрела вверх, всё вверх и вверх, и она увидела над собой — в облаках — Град свой Небесный, Небесный Иерусалим, мечту.

Дом плыл по небу. Дом, храм, четыре каменных стены, и факелы по четырём его углам, и сверкают смарагды густой бешеной зеленью, и горят радужные, остро огранённые алмазны, и пылают болотные, лягушки хризопразы, и жжёт глаза пятнистая яшма, леопардовая шкура. Дом величиною с целую землю! Да, нас всех ждёт эта земля. С четырёх сторон двенадцать ворот, но разве я их сейчас

смогу сосчитать? Кирпичи из сапфира, дышащего морем, узоры из змеиного халцедона! Сардоникс, сердолик мерцают углями, головешками в остывшей печи. Испеки блины ближнему своему! Пожарь картошку! Нет ничего святее и чище простой любви и заботы. А когда встанут перед тобой зимние столбы, выточенные из ледяного берилла, — обними их и поцелуй их, не бойся их. Человек не боится льда, не боится ненависти, зависти, огня и смерти. Он боится только Бога: когда нагреши, когда убьёт.

Громадный дом-корабль плыл по небесам, и борта сияли винным аметистом и лимонным топазом, а ближний Ангел трубил в трубу, и она под звёздами горела, изукрашенная крупным, цвета рябины на морозе, гиацинтом. Дом жемчужно и радужно светился в небе, принимавшем то тёмный, то золотой цвет. Меха небесной гармонии раздувались, опали. Неужели все мы там будем жить когда-то? Мы все?

Перед домом текла река. Чистая вода. Ни грязинки, ни соринки. Ни мазутного масла. Ни яда, ни отравы. В небесах оно все так; там все чисто и благодатно. Вода в реке светится сильнее паникадила и сверкает ярче январского хрусталя, а на берегу реки растёт Древо Жизни; лишь раз в жизни собирает человек его плоды, а Богу и вкушать их не надо: Бог лишь поглядит на них — и сыт уже, и жив, и живёт вечно.

Факелы горели, воздымались высоко по четыре стороны гигантского куба, крепко среди туч и облаков стоял дом, нерукотворно сработанный для вечности, усаженный и унизанный яхонтами и перлами, как невеста, украшенная для возлюбленного мужа своего; и дальние Ангелы тоже творили музыку: один Ангел играл на скрипке, другой Ангел играл на арфе, а третий Ангел широко разевал рот. Он пел. Песня не доносилась сюда, на землю. А вот арфу и скрипку было еле слышно. А вот сейчас — ура! — Вера услышала трубу!

И еще немного погода — голос.

Она наконец услышала голос.

Это она сама стояла на стене Града Небесного — и пела.

Она пела о доме, Небесном Иерусалиме, прибежище и скинии любящего Бога: о том, что Град Небесный век пребудет домом прощённых, омытых от грехов, бедных людей.

Люди, вы же на краю бездны стоите! И глядите вниз. А вы лучше головы поднимите! Поднимите!

Бог восходил над Градом Небесным, Он теперь светил людям вместо утраченного солнца, и свет, доносившийся отовсюду, был одновременно и могучим, и нежнейшим. Звёзды внезапно пробились сквозь облака, прокололи их серебряными стрелами, окружили дом-храм и на глазах Веры превратились в мощный сияющий заплот; он сверкал ярче алмаза и сильнее чистого золота. Вера зажмурилась: глазам больно! А сердцу... сердцу радостно. Вот ты какое, небесное счастье! Я и не думала, родное, что ты такое...

Доносились нежные переливы арфы, торжественный петушинный клёкот трубы, а дальний Ангела голос пел обо всём, о чём угодно — о чём Вера желала сию минуту, о том он и пел: о чистой холодной воде из колодца, о синей яркой воде Енисея, о зимних могучих царственных кедрах на юру, о матери, у которой убили ребёнка; о бритом эке, что был одинок на всём свете и так хотел любви и ласки; о змее, обвивающей грудь старого циркача; о монахе-расстриге, что нашёл смерть в бурном зелёном море и отправился к рыбам и морским звездам, на дно; о бандите, что пулю в живот получил от слабой испуганной бабы — об неё уже ноги вытирали, как о старый ковёр, и ждали её лютые муки и скорая смерть; о колючей проволоке, о празднике, где плещутся красные кровавые флаги, о метелях и вьюгах, безумнее белого пламени, что плела на коклюшках, напевая тихую песню, толстая старая кружевница, выплетая опухшими узловатыми пальцами белые пихты и белые сосны, белую фату и белый саван, призрачные нежные снега и белые прозрачные облака, и о том Огне, что в этом году на Пасху в храме Гроба Господня, видать, не зажегся, вот оно все вниз и покатилося. И тонкая, паутиная жалоба скрипки в руках дальнего, на западной стене, строгого Ангела с

буранными крылами надвое разрезала Верину ещё живую душу.

Великое счастье объяло её. Счастье случилось, какое послано виденье!

И вот оно, вот! Бог идёт по улице Небесного Града, по золотым её камням. Бог спускается к Вере своей по золотой лестнице: ступени горят, Ангелы по обеим сторонам золотой лестницы реют, трепеща крыльями в чистоте сияющих небес; Бог спускается медленно, нащупывая невесомыми стопами пылающие золотые ступени, вот Он всё ближе, и Вера уже может рассмотреть Его глаза, Его улыбку.

Да Ты же тоже человек, думает она смущённо и потрясённо, ну да, я так и знала, Ты всегда был человеком, Ты же на землю, к нам, человеком пришёл, Ты и сейчас, в День Последний, нас не оставишь! Она бормочет: «Я смерти не боюсь... нет-нет, совсем не страшно. А там, на небесах, меня встретит в воротах Рая моя собака, Рыжуля?» Она слышит голос: «Сие есть дочь Моя возлюбленная!» По-русски Он говорит? По-арамейски? На языке души? И вот Он рядом с ней, и садится возле неё на корточки, и она видит: Он тоже обожжён, кожа Его вспухает призраками последних ожогов, и Он почему-то в летной форме, погоны сверкают, пилотка, выпачканная сажей, сползает на затылок, падает наземь, и Он встает на колени, наклоняется и крепко обнимает Веру.

И вокруг до неба встает музыки чистое пламя, Ангелы играют всё громче, и громко и прозрачно, на весь мир, на всю войну поет последнюю песню самый далёкий Ангел, да он ещё ребенок, и снеговые его, метельные крылья раскинулись на полнеба; на полнеба — метель, и на полнеба — пламя, так заведено, так Бог положил жить всем нам, и только два лица сияют, мерцают рядом — Бога лик и Верино лицо.

И оба лика уже икона — золотая, горькая. А грязь на ней превращается в скань. А кровь — ею исполосована, щедро залита икона — обращается в благовонное миро святое; вот она, люди, последняя беспомощная, безумная сказка ваша. Последний ваш, слезами залитый святой образ. Последнее объятье: ста-

рый, в морщинах, без имени узник, грязный, небритый, слёзы ползут по щекам и горят жемчугами прозрачными, призрачными, стоит на коленях перед лежащей молча, смиренно, безымянной бабой, черная ряса черным ковром лежит на ярком белом снегу, а может, на солнечном жгучем песке, руки старика живыми, обожжёнными ветвями, золотыми небесными водорослями, рыбами, любовно играющими в пахтанье небесного океана, обвиняют лежащую, светло-бездыханную, нет, ещё дышит. Последнее дыханье. Сиянье последнее. Отец напоследок обнимает Дочь — девочку, счастье, великую Веру свою.

\* \* \*

...А рядом горько плачет, сидя на сожжённой земле, уткнув лицо в грязную кровавую ладонь, ещё живая женщина; чёрные волосы её развилась и перепутались, и вымокли в крови, и рука висит вдоль тела мертвым канатом, и колени бесстыдно расставлены под истлевшей юбкой, и грудь изранена шальными осколками камня и железа; а ведь ещё вчера она была поющим Ангелом, ребёнком, и стояла на стене алмазно сверкающего в небесах дивного вечного Града, и пела — со звёзд — людям о любви великую, вечную песню.

\* \* \*

*Ничего, ничего, я шепчу себе, ничего,  
мы еще поживём.  
До того, до того, до того, как однажды умрём.  
На чело, на чело положите немой поцелуй.  
Ничего, ничего, это снег,  
летит его в ночи перевитых струй.*

*Никогда, никогда, никогда  
я больше не буду такой —  
молодой, кровь с молоком,  
стоящей над ледяною рекой  
В этой шубе волчьей,  
В чужом кудрявом табачном дыму,  
Около печи холодной, молча,  
в родном рыдальном дому.*

Мир — родильный дом,  
 Мы рождаемся заново всякий раз.  
 Бог глядит нам в слепые прорези  
 прижмуренных от лисьего визга глаз.  
 «Не забудь, не забудь, —  
     я шепчу себе, — тот, под берёзой,  
     во мху синего инея  
                                 ржавый замок,  
 Что целовала ты на бессмертном морозе,  
 Под собой не чувствуя ног».

«Подожди! Подожди! — я кричу.  
     Свечу зажги! Надвигается рать!  
 Не гляди, не гляди, не видать ни зги,  
     как буду я умирать!  
 Да не буду, конечно, нет, врёт богослов,  
     я останусь жить —  
 В этой белой палате, во व्यюге бинтов,  
 Мне здесь голову не сложить».

«Ты не верь, не верь,  
     если скажут тебе, что меня больше нет.  
 Просто выйди и закрой дверь.  
     Выйди и выключи свет.  
 Ничего, ничего, — так шепчу себе,  
     я ведь просто храм на Крови —

Мы ещё поживем, мы ещё поцелуем  
 на страшном морозе  
 стальной окоём  
 в Вере, в Радости и в Любви».

...Ты ещё помолись, поплачь, я с тобой вдвоём,  
 Ты ещё поживи, поживи.

### КОНЕЦ ЗЕМНАГО ХОЖДЕНИЯ ПО ГОРЮ И РАДОСТИ СВЯТОЙ ВЪРЫ

#### **Елена Николаевна КРЮКОВА**

родилась в Самаре.

Окончила Московскую государственную консерваторию  
 и Литературный институт им. А.М. Горького.

Поэт, прозаик. Автор десятков книг.

Лауреат премии им. М. И. Цветаевой (2010),

Кубка мира по русской поэзии (2012, Латвия),

Международного славянского форума «Золотой Витязь» (2014, 2016).

Лауреат Международных литературных премий им. И. А. Гончарова

(2015), им. А. И. Куприна (2016), им. Э. Хемингуэя (Канада, 2017),

Международной Южно-Уральской литературной премии (2017),

литературной премии журнала «Север» за 2019 год,

Международной литературной премии им. Ф. И. Тютчева

«Мыслящий тростник» (2020),

Всероссийской премии им. П. И. Рычкова (2020)

за книгу стихов «Вера».

Член Союза писателей России.

Живет в Нижнем Новгороде.

